

Юрий КРАСАВИН

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ЖИЗНИ**

ПОВЕСТЬ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Стыдно признаться, но не утаю: не очень-то я радуюсь гостям в утреннюю пору. Свои ли родные, случайные ли посетители сбивают меня с творческого дыхания, а оно пугливо и капризно: чуть что – и развеется то самое необходимое состояние души, которое, увы, кратко и быстротечно; однако только благодаря ему с моего пера сходит то небольшое и далеко не совершенное, на что я способен. Наверное, состояние то можно считать вдохновением... Впрочем, не поручусь. Но во всяком случае утро для меня – самое благоприятное, самое благодатное время.

И тут является гость... Неважно кто! Я и друзьям своим не рад, и детям своим, живущим уже отдельно от меня, и родной матери, не говоря уж о персонах незнакомых и просто нежелательных. Они приносят нечто такое, после чего я сижу за своим письменным столом, как птица на месте разоренного гнезда – все растратил, все растерял и уже ничем не владею. Это даже в том случае, если разговор с гостем был приятен и весть, мне принесенная, радостна.

Наверно, это плохо – то, что я негостеприимен. Но не судите меня строго, я и сам не берусь судить людей за то же. Да и не часто все-таки у меня бывают посторонние! Впрочем, разве назовешь посторонними детей своих? Или вот мать – она тоже живет от-

дельно от меня, в собственном доме, и появляется по крайней мере раз в неделю, и этот день у меня для работы, увы, пропаций. Но не скажешь же, к примеру, матери: мол, не вовремя ты пришла! Старушка с великим трудом добралась до меня, своего сына, с другого края города; наверняка долго стояла на автобусной остановке; хорошо, если ей уступили место, а то ведь затолкают, затискают до синяков на боках – он вечно переполнен, тот городской автобус. Она же движима желанием «повидаться», и для нее это так же свято, как для меня мой творческий подъем.

Я живу в девятиэтажном доме, у нас лифт. Изобретение это восхищает мою старушку-мать, но она его боится: вдруг не на ту кнопку нажмет - пойдет он вверх неостановимо, проломит крышу да и выбросит в небо; или наоборот, опустит в могильное подземелье да и застрянет там. Поэтому она, стоя внизу, поджидает грамотного попутчика, который хорошо разбирается в кнопках. Звонок ее в дверь я узнаю сразу – это какой-то особенный звонок, боязливый: мать боится, что нас не окажется дома, тогда ей придется идти в обратный путь, не отдохнув.

Я открываю дверь, и она с радостным возгласом переступает порог, а переступив, тотчас садится в прихожей на низенькую скамеечку, не раздеваясь:

- Ох, погоди-ко, сынок... дай передохну, по-

том... уж разденуся.

Я жду, стоя рядом.

- Что-то ноги совсем отказываются ходить, - жалуется она. – Прямо не хотят идти, и все тут.

Знаю я ее ноги... Приду к ней, она станет угощать чем-нибудь – из-за стола то и дело вскакивает: ой, сейчас то принесу! ой, сейчас подам! Я сержусь: «Да посиди ты, мам! Принести я и сам могу». Не успеешь остановить, уж откинула западню, полезла в подпол за солеными огурцами или вареньем... Мне б в ее возрасте так-то!

Наконец, она раздевается, и мы садимся на кухне «почайпить».

- Как у вас хорошо! – говорит она, оглядываясь, и вздыхает при этом глубоко и радостно, будто и впрямь попала в какое-то роскошное жилье.

Кухонка у меня маленькая, потолок побелен пять лет назад, пора бы освежить; на полу линолеум постелен мною собственноручно, то есть неумело; раковина для мытья посуды, газовая плита, посудный шкаф – все самого простейшего вида. Но мать во всякий свой приход неустанно похваливает:

- Уж больно хорошо у вас! Теплота, светлота, чистота... Как в раю.

Не знаю, как там в раю, но вот у моих знакомых, живущих в Москве возле станции метро «Новослободская», на кухне помещаются диван мягкий, обширный обеденный стол, телевизор; на

Новый год тут же елку ставят, и еще остается место потанцевать. Но моя мать никогда не бывала в квартирах подобной той, столичной, и воспринимает рассказ о ней, как о чем-то из запредельного мира, что к нашему не имеет никакого отношения.

Ее восприятие моей профессии тоже своеобразно: она вроде бы как стыдится, что ее сын ходит в писателях. Ну, не то, чтобы стыдится, но ей от этого неловко, потому на вопрос где-нибудь в очереди магазинной или при сидении на лавочке с подругами, где, мол, работает сын, отвечает уклончиво: дескать, без работы не сидит.

- Дак погоди-ко, не он ли книжки-то пишет? – спросит кто-нибудь из людей наиболее осведомленных.

Тут моя мать несколько озадаченно подтверждает: он. Если что-то хорошее говорится о том, что я пишу (ей-богу, бывает!), она проникается скоротечным интересом и спрашивает меня:

- Как у тебя с писаниной-то?
- Да пишу помаленьку.
- Ну-ну.

Это «ну-ну» есть своеобразная форма одобрения и благословения на дальнейшие подвиги. Несколько раз она осторожно пыталась:

- А тебя, сынок, в газете за это не продернут?
- Как это? За что?
- А вот не работаешь нигде...

Согласитесь, что сидеть за столом и водить пером

по бумаге – какая же это работа! Забава, баловство, и не более того. Настоящее-то дело – оно на заводе, в поле или по крайней мере в каком-нибудь учреждении.

- Продернут, мам, обязательно продернут!
- То-то и оно.

Когда выходит очередная моя книга, мать подержит ее в руках недоверчиво, опять-таки с некоторым недоумением, словно не понимая, что это такое, как к этому относиться. Но сам вид книги, и мое несомненное авторство, обозначенное ясными типографскими буквами – имя и фамилия – подталкивали ее высказать такое вот предложение:

- А ты, сынок, описал бы мою-то жисьь.

Кстати, это я слышал не только от своей матери, но и от разных людей, чаще всего вовсе мне незнакомых. Видно, каждому хочется запечатлеть пережитое – не столько из честолюбия, сколько от уверенности в назидательной пользе собственного житейского опыта.

- Твоя-то жизнь, она – твоя, - говорю ей со вздохом. – Ты знаешь, ты видела, значит, это твое достояние, которым я не владею.

- Так я тебе расскажу, вот и будешь владеть! – с готовностью говорит мать и даже удивляется: чего, мол, тут трудного – записать?

По-моему, она подозревает меня в лени или даже в нежелании сделать для нее и для людей это доброе дело. Ее собственная жизнь развернута перед ней по-

добно длинному узору на тканом полотне, и видна на всем протяжении от младенчества до нынешнего дня, и все так ясно, отчетливо – садись и пиши.

- Жись-та у меня была больно тяжелая, - она качает головой. – Вот хоть бы в войну: какие я муки приняла! Сколько тягости всякой узнала!

- А ты напиши сама, - советую я.

- Дак я-то малограмотная. Письмо задумаю послать – целый день сижусь.

- Куда тебе спешить! Времени свободного много, пиши да пиши, как длинное письмо.

- Кому?

- Вон у тебя правнук и правнучка, им и адресуй: вырастут – прочитают.

- Наверяд ли... Что им моя-та жись!

- А я вот так представлю: ну-ка, если бы которая-то из моих прабабок, Аксинья или Катерина, или Анисья, оставили бы мне свои записи – это ж было бы безумно интересно! Независимо от того, грамотно или неграмотно они написали.

- Про что они тебе написали бы?

- Про детство свое да как в девках гуляли, как замуж выходили, какую работу любили или не любили, во что одевались...

Мать мысленно примерялась и качала головой в сомнении:

- Разве упишешь все!

То-то и оно... Хоть десяток гениальных писателей посади за эту работу – вряд ли управятся с одной

только жизнью человека. Что же касается меня, то... моих способностей хватит лишь на беглое и крайне поверхностное описание.

- Все не упишешь, верно, - осторожно настаивал я, - а вот хотя бы про войну: что видела, как переживала.

Разговор этот случался у нас не однажды, и вот наступил день, когда мать пришла ко мне с благой вестью, от которой сама она радовалась и торжествовала:

- Гляди-ко, целую тетрадку исписала!

Ей самой было дивно, что сумела столько написать.

Тетрадка, на обложке которой каракульками было выведено «Моя жись», - помята и потрепана, и исписана вся от первой и до последней страницы. Зная писательские возможности своей матери, я понял: это подвиг, и он совершен – слово легло на бумагу, теперь оно будет жить. Во всяком случае правнуки, которые ныне учатся ходить и говорить, потом смогут прочесть. Вместе с тем жизнь моей матери как бы получила документальное подтверждение, подобное свидетельству, что дается нам о факте рождения, брака...

И вот с тех пор, как тетрадка стала храниться в моем письменном столе, она томила меня и не давала покоя. Время от времени я доставал ее – печаль и горестное раздумье неизменно овладевали мною.

Над первой же фразой - «*довойны мы жили внов-*

городе и у нас было двое детей» - и над любой из последующих я просиживал подолгу, как над математическими формулами: в них было заключено огромное пространство, множество живых людей, бессчетное количество событий, душевных переживаний. Меня мучило: увидят ли, поймут ли это другие, как вижу и понимаю я, единственный читатель тетради? Мне хотелось добавить в нее то и это, пояснить - расшифровать эти письма. Но всякий раз меня останавливало сознание своего недостойнства и несовершенства моего пера.

Насколько легче писать о вымышленных людях и событиях! Тут же передо мной живая ткань бесхитростного рассказа, и человек живой – моя мать. Жизнеописание ее «светлого языка требует», как выражались в старину слагатели житий... Нет-нет, в данном случае не житие, но тем не менее оно светлого языка требует. Я же боялся употребления слов, которые неравноценны, несоответственны ее переживаниям.

Признаюсь, не один год уже лежала эта тетрадка у меня в столе, а я мучился от сознания собственного бессилия. И вот решил хотя бы начать... уповая Бог знает на что! С одной только верой, что разрешится томительное состояние моего духа, если мне удастся что-то добавить и пояснить.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ, ДОВОЕННАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

-1-

Все происходящее вокруг – переплетение сюжетов, подобно водным струям в общем потоке или волокнам туго свитой пряжи; они тесно соседствуют и вместе составляют единство, причем нерасторжимое, то есть такое, когда невозможно отделить часть, не порвав связей. Это общее течение жизни совершается неостановимо – еще не кончилась одна цепочка событий, а уже началась другая, и тут же соседствуют третья и четвертая, пятая и десятая, сплетаясь с предыдущими и последующими...

Но сколько веревочке ни виться – можно отыскать начало, да и конец, как известно, будет. И как долго ни течет речка – коль имеет она исток, быть и устью; значит, есть начала и концы у всех историй. А у человеческой жизни, как частицы общего бытия? Можно указать рождение и смерть. Но все не так просто. Что такое рождение человека? С чего начинать

отсчет жизненного срока и что признать началом? Первое движение младенца во чреве матери или факт его появления на свет? Обретение имени или осознание самого себя на свете? А может быть, взгляд, которым впервые обменялись его родители при встрече – как искра того огонька жизни, который затеплился?

У древних философов, немало размышлявших о сущности бытия, в ходу были загадки, вроде такой: одно зерно – зерно, два или три зерна – это два или три зерна, а десяток зерен – это уже кучка; так откуда, с какого зернышка началась кучка? Вот и повод для бесплодных усилий любого, даже высокого ума.

И все-таки откуда начать повествование о жизни человека?

Речь о моей матери...

Вот, скажем, её паспортные данные: место рождения... дата рождения... Но ведь тут все неверно! Откуда «район», когда был «уезд», и откуда Калининская область, когда была еще Тверская губерния! Дело не только в этом – местом рождения могла быть и изба, и поле, и рига, и что-нибудь ещё, а о том в паспорте не сказано. Что же касается даты, верно лишь то, что в этот год – 1909-ый – тверской крестьянин Степан Климентьевич Воронин с женой Прасковьей Ивановной, урожденной Тихомировой, в церкви соседнего села Спасское, что на реке Нерли, крестили свою единственную дочь – младшую из троих детей, и сельский батюшка назвал ее в честь святой велико-

мученицы Анны.

Отец моей матери был сельским кузнецом. Кузница его стояла возле паромной переправы у села Поречье на дороге из Сергиева Посада к Калязину. То есть на том месте, где большак пересекает реку Нерль.

Почему именно здесь была кузница? А где же еще ей быть! У перевоза – милое дело: кто ни едет, тут остановится, и пока ждет проезжий парома, ему и лошадку подкуют, и обод на колесо натянут.

Степан Климентьич умер рано: полежал на сырой земле, жестоко простыл, после чего и сгорел в скоротечной чахотке. Это случилось, когда маленькой его дочери Нюше было девять месяцев от роду, а сыновьям Ванюшке да Васютке соответственно семь лет и четыре года.

Умирая, мой дед просил своего старшего брата Ивана Климентьича:

- Братец, не оставь моих сирот.

Тот обещал и слово свое сдержал: обе семьи стали жить в одном доме, и Иван Климентьич не отличал свою собственную дочь Маню от братних детей.

Я хочу остановиться на этом месте, чтобы спросить: а много ли мы ныне знаем примеров подобного благородства? Укажите мне на человека, который взял бы двоих племянников и племянницу в свою семью да и вырастил их – все честь честью! Укажите, и я готов буду поклониться ему. Но наша жизнь услужливо подсказывает примеры иные... Впрочем,

не будем сетовать на отсутствие благородства в людях ныне, оно есть, и примеров его немало, просто мой жизненный опыт небогат и память моя скудна.

Отцу деда, то есть прадеду моему Климентию Евдокимовичу Воронину, переехавшему на жительство из деревни Дуброво, что на берегу Нерли, в деревню Хонино, что стоит на ручье по имени Ир, впадающем в Нерль, тоже не выпал долгий век. Он был горшечником (мне хочется думать, что поныне в деревнях по реке Нерли да по Волге сохранились его гончарные творения – стоят, небось, на пыльных полках по кухонным чуланам) и продавал свои горшки да кринки, кашники да плошки на базаре в Калязине, пока не случилась беда. Однажды лошадка привезла его из города домой с проломленным черепом, бездыханного, ограбленного: дорога от Калязина до Хонина шла довольно глухим лесом, а уж что там случилось – Бог ведает. Оставил он сиротами своих сыновей, Ивана да Степана, младшему было семь лет, старшему чуть поболее.

Раннее сиротство, как рок, преследует мой род: и прадед погиб, и дед, и мой отец... Чем мы провинились, Господи? Не упрекаю – знать хочу.

Из-за трагического ли события, по другим ли причинам осиротевшие братья Воронины, войдя в возраст, отцово дело продолжать не стали, а поскольку одним хлебопашеством прожить в наших местах было трудно, они выбрали себе по ремеслу согласно

своим способностям: младший, Степан, стал кузнецом, а старший, Иван, принялся валять валенки.

Тут уместно будет сказать, что моя родная сторона – побережье Большой Нерли – испокон веку, помимо основной крестьянской работы – пахать землю да разводить скот – знала разные ремесла: горшечное, кузнечное, шорное, плотницкое, сапожное, колодезное, ткацкое, валяльное и прочие. Одно перечисление их займет много места.

Пожалуй, не было тут человека, не владевшего основательно каким-нибудь ремеслом: у нас жил народ ходовой, то есть предприимчивый, смысленый и отважный, способный на лету схватывать любую хозяйственную идею и с деловой целью поехать куда угодно, хоть на край света.

Мне кажется, что и я взялся за писательство с той же отчаянной решимостью, присущей моим предкам и землякам, с верой, что нет такого ремесла, которого нельзя постигнуть. Да и не сродни ли мое занятие кузнечному да валяльному делу, потому как все они имеют побудительной причиной жажду творчества.

Впрочем, я отвлекся. Вернусь в деревню Хонино, где родилась и уже осиротела моя мать.

- 2 -

Ивана Климентьича, дядю своего, она звала «тятей», а потом «дедушкой» – это потому, что у него

окладистая борода.

Есть фотография – доверена мне ради сохранения – великолепная по качеству исполнения, наклеенная, между прочим, на тисненый картон...

Где это вам, позвольте спросить, ныне сделают такую фотографию да еще и на картоне с тиснением? А вот жил в уездном городе Калязине какой-то буржуй-предприниматель, который честью своей дорожил, заботился о ней и был мастером своего дела. Его мастерскую потом наверняка распотрошили, а самого, небось, прикончили во имя великих классовых целей. А думаю я, что был он из крестьян, совершивших великое переселение из деревни в город, великое превращение из крестьянина в предпринимателя.

Вот она, эта фотография: на фоне некоего барского жилья – большие окна, шторы с кистями, двери высоченные...

Я понимаю, что это рисованное, лишь декорация, однако обман обнаруживается лишь при внимательном рассмотрении.

...расположилось крестьянское семейство Ворониных из деревни Хонино.

Глава семьи, бородатый, большелобый, с зорким усмешливым взглядом из-под нахмуренных белесых бровей, сидит на стуле, положив тяжелые руки на колени. На нем рубаха-косоворотка, длиннополый пиджак, сапоги кожаные. Сидит прямо, не сутулясь; посадка головы горделива, разворот плеч и грудь бравые

– он хозяин, главный ствол семейного куста и первый ответчик за него перед Богом, людьми и своей совестью.

Двое мальчиков примерно девяти и двенадцати лет стоят справа от него. Слева две женщины в темных шالях: одна сидит – это жена Мария, вторая стоит перед высоким столиком – это жена покойного брата, моя бабушка Прасковья. А с краю в белом ситцевом платье замысловатого покроя – с широким кружевным воротником на плечах и оборочками по поясу и подолу – моя мать, ей здесь лет шесть или семь. Не хватает на фотографии дочери Ивана Климентьича, Мани, - говорят, красавица была и рано вышла замуж да и далеко - в город Курск.

Ушедшим временем веет от этой фотографии, от одежды этих людей, от того, что щелястый пол застлан соломой, что не очень-то гармонирует с «барскими покоями», а впрочем... На соломе у ног хозяина смиренно лежит угольно-черная дворняжка.

- Мам, как собаку звали? Не помнишь?

- Как же не помнить-то! Цыганка... ласковая такая собачка была.

Семейство приехало в Калязин затем лишь, чтоб сфотографироваться, запечатлеть остановленное мгновение.

- И мама моя, и мамаша не хотели ехать, но тятя сказал: нет, мол, надо память внукам оставить.

И оставили вот.

Фотография сделана года за два до революции, все эти люди смотрят на меня одинаково, требовательно и строго, - они не знают ничего из своего будущего, а я знаю, и потому мой встречный взгляд на них полон печали и сожаления, тогда как их глаза полны надежды и упований на счастливую судьбу.

- Тятя красивый был... - непременно добавляла мать, разглядывая этот снимок. – Я , бывало, на колени к нему заберусь и бороду ему расчесываю - а борода у него большая, окладистая. Он меня любил, но не баловал, нет. Строгой был! Уж как мы боялись его! Он только бровью поведет, мы и не пикнем. А хоть бы раз пальцем тронул.

Эту строгость своего «тятя» моя мать унаследовала в полной мере. И сейчас ей присуща почти осязаемая сила взгляда, хотя чего уж, восемьдесят лет, возраст старческой немощи.

- Жалостливой был тятя, не скажешь зря. Из города всегда гостинцы привозил – и Мане, и нам. Пойдет к риге снопы сушить – и меня на загорбке тащит. Или вот с покоса обязательно несет букетик земляники, зовет: «Нюша, ну-ка беги скорей ко мне! Погляди, что я тебе нашел».

- 3 -

Она выросла в маленькой тесной избушке, которая однако же всегда была заботливо обихожена и

потому являла собой вид довольства и даже некоего богатства. До недавнего времени сруб той избушки, в которой она жила, вернее нижние венцы, догнивал в деревне Хонино, заросшей лопухами да крапивой, лебедой да полынью. И как не удивиться, когда представишь, глядя на этот «венец» из гнилых бревен: неужели тут и заключена была вся жилая площадь избы? Неужели здесь, вот в этом бревенчатом срубе и помещалось все: русская печь, кровать, скамейки и табуретки, комод... а еще полати, голбец, лавки и всяческая утварь, вроде чугунов, бадей, лоханей, ухватов. Неужели здесь могли разместиться за обеденным столом или на ночлег семь человек?

- А как же! – удивлялась моим вопросам мать. – Не только ели да спали – тут и работали! В кухне мама, царство ей небесное, с утра до вечера крутилась: варила, пекла, жарила, парила. В передней и пряли, и ткацкий станок тут же ставили, и валенки подшивали, и упряжь ладили...

Любая крестьянская изба в ту пору представляла собой нечто поразительное: в каждом помещении шла неустанная работа, все двигалось, дышало... Изба была подобна живому существу, у которого полон жизни каждый орган, или небольшой фабрике по производству всего необходимого для существования русского крестьянина и его семьи.

- Корова растелится – теленка в избу; овца обьгнется – ее с ягнятами тоже в избу, под голбец... Да

еще, глядишь, кто-нибудь попросится переночевать, уполномоченный или богомолец какой, или нищий; а и гости приедут на праздники. И надо же: все поместятся, всем место найдется!

Таков был обиход, в котором она выросла, не помышляя, что где-то живут иначе, отнюдь не сожалея, что ей выпала именно такая, а не другая доля.

Когда мои дети просили свою бабушку рассказать о ее детстве, та мало чем могла их потешить:

- Да что там... - она задумывалась. – Вот, бывало, соберемся да и побежим к речке. Побежим, побеежим...

И все. Дальше рассказ не шел. Ни младенческих забав, ни детских игр, ни отроческих увлечений не могла она припомнить; зато с подробностями – о том, как исполняла ту или иную работу.

В школе проучилась она ползими, так и говорила потом: «Закончила ползими». А потом тятя сказал ей: «Бог с ним, с ученьем! Будешь помогать управляться по хозяйству». И вот девяти лет вступила она в тот великий круговорот забот и трудов, которому не было конца.

Общество не затратило много на то, чтобы вырастить ее и подготовить к труду. Можно смело считать, что, начиная с того девятилетнего возраста, она уже зарабатывала свой кусок хлеба: это если принять во внимание объем работы, которой она выполняла.

Ведь что такое, скажем «управляться по хозяй-

ству»? Если на дворе корова – надо ее кормить, поить, доить, выгонять в стадо, чистить стойло, постилать соломки... Если во дворе овцы, помимо того, что их тоже надо выгонять в стадо, поить да кормить, следует еще стричь, а шерсть расщипывать, прясть, вязать носки и варежки... К этому примыкает ремесло, которому предана была вся семья – валяние валенок. Но о нем речь впереди.

А в доме надо каждый день топить печь, чистить и варить картошку, сушить свеклу и парить репу, готовить пойло скотине, заваривать мякину для кур да гусей, щепать лучину... А еще стряпня!.. в доме надо подметать и мыть полы, перетряхивать и набивать новой соломой постельники... стирать и полоскать белье... рубить хворост, ходить на колодец за водой...

А теперь о том, что, собственно, и называется крестьянским трудом.

Вот посеяна рожь – надо ее боронить, полоть, жать, вязать снопы и ставить суслоны да крестцы, возить к риге, чтоб сушить в ней, молотить цепом на току, убирать солому и полову, веять зерно, молоть его на ручных жерновах...

А если посеян лен, его надо опять-таки боронить, полоть, да и не один раз, потом драть, вязать снопы и ставить их в «караводы», чтоб созревал, после чего возить к риге, колотить вальками, веять льняное семя, стлать тресту под августовские росы, поднимать ее и мять на мялке, трепать и чесать, прясть и

ткать, отбеливать холсты...

А огород! Там надо сажать и окучивать картошку, поливать огурцы и капусту, полоть грядки...

Каждая работа требует умения и навыков: косить траву и класть сено в стога, шить сарафаны и рубахи, запрягать лошадь в сани, телегу, борону, уметь заквасить капусту и затворить тесто, засолить огурцы и грибы, вышивать рушники... Ко всему она приобщалась постепенно, согласно с возрастом.

Но помимо всего этого, нужно было овладевать каким-то главным ремеслом, которое выручало бы не только сегодня, а во всей жизни: земля бедна, да и мало ее, урожаи скудны – не прокормишься.

- Некоторые голодовали. Хошь, не хошь, а надо подрабатывать на стороне: под лежащий камень вода не течёт.

Иван Климентьич не только валенки умел валять, но и хороший сноваль был, то есть обладал умением из шерсти делать ту заготовку, из которой после валки получается валенок. Вот к этому делу и стал он приучать свою племянницу Нюшу с девятилетнего возраста. Сначала-то она у него просто «выкатывала» листы шерстяные, то есть он выложил слой шерсти строго рассчитанной толщины – в ином месте потоньше, в ином потолще – завернет его в рулон, так чтоб слой от слоя отделялся холщевой прокладкой, вот его-то и надо было выкатывать довольно долго, чтоб получился плотный шерстяной лист. Из этого листа

и заворачивают нечто похожее на валенок, который тоже надо немало выкатывать прежде, чем он пойдет «в стир».

Сновать валенки – не просто ремесло, а искусство; оно подобно искусству закройщика, и в этом деле у валял были свои знаменитости, как и в любом ином, вплоть до писательского. Если выйдет валенок-неудачник – то есть в головке его или в голенище тонко – при валке ошибка сновалы скажется пагубно: за плату не наложишь и уж ту пару не продашь.

Сновать она выучилась в шестнадцать лет. И сейчас может основать хоть детские, хоть мужские или женские, полудлинники или заколенники... на любой возраст и вкус. И уж то, что она оснует, вальщик не похает.

- Каждый год после праздника Рождества Богородицы тятя уезжал в люди – в Курскую, там у него домичек был для валяния, вот и работал с сентября по масленицу. Брал с собой свою дочку Маню да старшего племянника – Ванюшку. Хозяйки дома оставались. Мама подряжалась возить подклад... ну, товар какой-нибудь из Троицы-Нерли в Калязин или из Калязина в Троицу-Нерль. Надо ж было как-то подрабатывать! Лошаденка у нас была, Васькой звали, черненькая такая, а упряжь веревочная, плохая. Много ли бабенка заработает! А хоть и мало – все подспорье.

Я упомянул ранее, что-де после смерти Степана Климентьича обе семьи Ворониных стали жить вме-

сте, а не пояснил: они и раньше-то жили бок-о-бок. Деревенская община не позволяла молодым семьям делиться, поскольку в этом случае надо было выделить новый пай земли. Поэтому старший из братьев выстроился на родительском огороде, рядом.

Это я к тому, что земли было мало, а побочное ремесло – не прихоть, не забава; оно не от жажды обогащения, а просто насущная необходимость.

- Помню, в люди мы отправились в Тамбовскую, работали уже без тяти. Братчик сначала снял там квартиру – деревня Грибановка, у Маньки Ильиной. Ехали в поезде, потом на лошадях. Село большое, все улицам, улицам. А грязь – ноги не вытащишь! Он уже был женатый, братчик-то. Сестричка, молодая его, шерсть била, я сновала, а они, два брата, Ванюшка да Васютка, валяли. Приносу что-то мало было: принесут, принесут, и опять нету. Еле дотянули до Рождества. Помню, ходили кино смотреть, в первый раз. Картина такая: отец отправил сына в армию, жил со снохой. А сын вернулся, когда у нее ребенок от отца. И вот она бежала, бежала по берегу реки да и кинулась в воду...

Могу себе представить мою шестнадцатилетнюю мать: она впервые в поезде...впервые «в людях»... впервые смотрит кино...

- Я там, в Тамбовской, чуть замуж не вышла. Углядел меня лавошник, мы у него кирасин брали. Кирасину не было, а нам он отпускал. Уезжали – он

одно что: приеду за тобой. Я вернулась, говорю: мам, так вот и так, сватает. Она меня отругала. Написали письмо, отказали. Спасибо, мол, за честь, но слишком молода невеста, рано ей. На другой год братчик опять туда поехал, а жених мой его уговаривать...

Между прочим, красавица Маня, родная дочь Ивана Климентьича, как раз по семнадцатому году, молоденькая еще, вышла замуж за булочника в Курске, куда в очередной раз поехала с отцом «в люди».

Что за спрос такой на хонинских невест у булочников да лавочников в иных губерниях? Ишь, разохотились они: не надо курских да тамбовских, хотим жениться на тверских. Губа не дура...

- 4 -

Когда она была девочкой, я мало интересовался ею. Я в ту пору был... творением тонкой материи или чем-то, что не имеет ни материальной сущности (а если имеет, то совсем ничтожную), ни формы или оболочки, ни какой-то определенности... Но был! В этом нет никаких сомнений.

Недавно ученые произвели тончайшие исследования, используя самые последние достижения в области измерительной техники, и в результате немислимо кропотливых и точнейших работ установили, что душа в человеке есть, что она имеет даже некую материальность и весит... сколько-то граммов.

Вот этим бессмертным «нечто» я и был тогда, когда моя мать была юной деревенской девушкой, и каким-то образом тяготел именно к той местности, где она обитала, душевная связь с этой землей неразрывна и ныне.

Тот факт, что в Спасской школе девочка Нюша Воронина сидела на одной парте с Васюткой Баушкиным из деревни Ремнево, тоже не пробудил моего интереса: ну, сидят и сидят, и Бог с ними! Но вот по мере того, как Нюша Воронина становилась взрослой девушкой, а в соседней деревне в семье Федора Красавина мальчик Васютка становился уже Василием, а то и Федоровичем (бригадиром поставили!), радостное беспокойство и волнение постепенно и все сильнее овладевало мною: я, должно быть, понимал, что сулит мне возможный их супружеский союз.

Я очень люблю две фотографии из той поры. На одной мой отец лет этак восемнадцати с младшим братом Михаилом и сестрой Марусей, она тут еще девочка. Братья Красавины в хромовых сапогах выше колен, молодцеватые, подтянутые. Михаил сидит, лихо положив ногу на ногу; оба при галстуках бабочкой – женихи!

- А что, мам, - спрашивал я, рассматривая эту фотокарточку, - галстуки-то, небось, им мастер-фотограф нацепил, а?

- Нет, - отвечала она строго. – Тогда мода такая была. Сапоги чтоб хромовые выше колен, галифе и

пиджаки в талию, и чтоб галстук вот такой... Какие у нас парни-то были! Нынешним не чета. Бравые, подбористые, ловкие... Сапоги хромовые, блестят, костюмы утюгом отглаженные, при галстуках... Бывало, как войдут на «беседу», да как затопчут, да как гармошка-то грянет! У каждого выходка своя: и спеть, и сплясать.

Могу себе представить... Но где ныне мужики или старики, бывшие этими парнями? Нету. Разметало их ветрами социальных потрясений и уложило в безымянные да братские могилы.

- Чтоб пьяным кто-то пришел или слова ахаверные – ни-ни... Поди-ка, осудят такого, ославят на всю округу – как-то этого боялись.

А вот сама она в той девичьей поре на другой фотографии вдвоем со своей лучшей подругой Настей Чаркиной – сидит, небрежно положив согнутую в локте руку на спинку стула; (так уж усадил ее фотограф – на стуле боком), платье на ней... вроде бы, шелковое, блестит, переливается; на ногах туфли на высоком каблуке, длинные косы перекинута на грудь (в ту пору девушки носили не одну, а две косы), лоб высокий, чистый, взгляд открытый.

- Я в девках-то *славенкой* была, - сообщает мать, глядя на свою фотографию. – В славе гуляла... Уж не знаю, чем было особо гордиться-то, а все равно гордилась.

Ну да, она и на фотоснимке здесь «гордится»,

если не сказать «заносится». Пожалуй, не вдруг подойдешь к такой, - небось, робость возьмет. Уж и не знаю, пошла бы она с таким парнем, каким был я в жениховскую пору, или нет. Может, не удостоила бы внимания? Вообще-то я был ничего, но... не уверен. Не исключено, что глянула бы на меня насмешливо или пренебрежительно да и только.

Странная, конечно, и опрометчивая эта мысль: как мне пришло в голову представить себя в жениховском возрасте рядом со своей девушкой-матерью!? Пожалуй, в этом случае мой отец поступил бы со мной, как с одним из хонинских ухажеров – отметелил бы: не суйся с кувшинным рылом да в калашный ряд... не по себе дерево рубишь!

Как хотите, а у меня были красивые родители. Странно, что это их качество не передалось мне. Я-то, как говорится, молодым был – это помню точно, а вот красивым... нет, не возьму греха на душу, не стану утверждать такого; могу лишь лелеять надежду, что кто-нибудь не согласится с тем, что я был недостойным сыном своих красивых родителей.

Между прочим, у семейного портрета Ворониных и у того, где моя мать с подругой, один и тот же фон: явно нарисованное барское окно с подвязанной шторой и рамка картины, якобы висящей на стене. Эти две фотографии разделяет время, в котором уместилась революция и Гражданская война, потому у второй тисненого картона уже нет – заплотала фотомастерская.

- 5 -

Однажды мать призналась, понизив голос до шепота:

- Мы, ить, иной раз нанимали работника.

Я весело воскликнул:

- А-а, так вы кулаки были!

Она тотчас поспешила отвергнуть мою догадку:

- Какие кулаки, Господь с тобой! Правда, при единоличном-то хозяйстве мы покрепче стали жить - это уж после Гражданской: ребята у нас подросли, братья-то мои, Ванюшка с Васюткой – тятя ими гордился: «Ну, у меня племянники вместо сыновей!». Хочу, говорит, чтоб в масленицу у нас свой выезд был: купили упряжь хорошую, лошадь серую, в яблоках. В Калязине тогда можно было уже кое-чего купить, мануфактура появилась. А работника-то мы нанимали ненадолго, временно, да и не ахти какого: помню, дедушко Илья у нас работал, дальний наш родственник, бедный-бедный, ни кола у него, ни двора. Сядет за стол, яичко ест, приговаривает: эх, было бы оно с корову!.. Раскулачивание началось – могли и нас затронуть, да наш домик не подкачал: маленький был да старенькой.

Наступило трагическое для крестьянства время... Одно из основополагающих событий, сформировавшее её убеждения: в то лихолетье, взломавшее вековой крестьянский уклад, родительский дом сы-

грал охранительную, защитительную роль.

- Ивана Семёныча Горохова раскулачили потому, что он только-только выстроился, а нас домик выручил. У него было две коровы, как и у нас, а семья большая, работающая: сам с женой да сын Федюха, да дочки: Нюшка, что умерла от оспы, Танюшка, потом Рая, потом еще Надешка. А Нюшка-то померла молодая – у нас тогда черная оспа ходила, и многие болели: Николая Шальнова изрябило, Шурку Кириллову тоже. А раскулачивать взялись – похуже оспы вышло. Кулакам до этого налоги большие давали, их еще не угнали, а дома ихние уж занимали. Еще сват Михайло Шальнов сзади, в своем же доме живет, а мы, молодежь-то, в передней, у нас ликбез. В ликбезе занимался с нами Иван Павлыч Крючков, из Спасского ходил. А забирали кулаков втихомолку. Братчик тогда был кем-то в сельсовете, к нему уполномоченный приезжал. Фамилия, вроде, Бякин, в кожаной тужурке такой. Гороховых забрали ночью; мы спали. Братчик привел их, Иван Семеныча и Федюху, погреться. Потом и свата Михайла привели. А было холодно на улице-то! Федюха встал к печи, его трясет... Увезли их к утру. Сваха Оксинья Яфимовна да жена Горохова Ивана поехали следом, в Троицу-Нерль, узнать, как и что, а без них как раз явились выгонять кулацкие семьи. Танюшка Горохова, помню, плачет, сестре своей причитает: «Что же нам делать, Рая, нас же выгоняют!» Все ихнее добро пошло незнамо кому. Носили

второпях к родственникам, совали в дровяные поленицы, в хворост – кто куда. А уж кто потом оттуда забрал – неведомо. Ну, увезли семьи кулацкие: и баб, и детишек – куда-то далеко угнали, в пески. У свахи Оксиньи девчоночка в дороге померла, года четыре ей было. Через несколько лет, правда, некоторые вернулись: сперва приехала Таня, потом ее мать Марья с Раей – они поселились где-то за деревней Лучкино. А Гороховы отец с сыном так в песках и сгинули... В Спасском раскулачили Борисовых, в Плуткове лавочника Говяткина – ну, этих ладно, эти богатеи. А Шальнова-то Михайлу за что? Ить самый работающий мужик был изо всей нашей деревни. И вся их семья работающая. Мы, бывало, гуляли – вечером пойдем на беседу, а Танюшка Шальнова то шерсть теребит, то прядет или еще чего, все ей некогда... А в Ремневе Васютку Лексева раскулачили за то, что у него дом под железной крышей. Такой был бойкой, удалец, тот Васютка... Ничего у него не было, никакого богатства, только этот дом, сам же его и построил, своими руками... У кого поновее, кто недавно выстроился, того раскулачили, а нас нет, уберег Господь.

Невозможно найти разумного начала и объяснения тому, что творилось. Я и не стану искать, скажу только, что торжествовали злоба и зависть, черная ненависть творила суд и расправу, бесстыдство и глупость вошли в почет...

И довольно! Все эти слова не утишают сердеч-

ной боли.

Продолжу, однако, рассказ матери.

- Ну, раскулачили, а зимой-то колхозы стали организовывать. В хонинский колхоз вошло восемь домов, и мы, Воронины, тоже вступили. Середняки вступили, а бедняки не хотят. Они уж опосля. На нас смеялись, дразнили: холхозники, мол... Мы да Алексей Иванович Горохов, он из Красной Армии пришел, да Никифоровы ребята – Петруха и старшие его братья – вот это и был наш первый колхоз. Наверно, председателем выбрали сначала Ваську Оленина, что-то я плохо помню, вроде его. А Васька этот дурачок дурачком, не хватало маленько: за понедельником сразу среда. Он бедняк был – его в председатели. А ведь рассудили бы: потому и бедняк, что умом тронутый. Но, поди ж ты!.. На гулянье, помню, собираемся, а мама наказывает: «Вы, девки, почетьте Ваську-то Оленина». Ить, боялись-то как! А чего его почетить: заплошистый, говорил невнятно. Война пришла —он в подпол полез, там отсидивался, когда повестка из военкомата пришла. Вот такой был человек... Ну, недолго он насидел в председателях, потом выбрали Петруху Никифорова – это уж как мне замуж выходить, в ту пору. Он все сватал меня, Петруха-то, да я не пошла за него. Помню, отец твой посватался ко мне, к венцу надо ехать – Петруха лошади не дает, осерчал. Пришлось посылать в Ремнево, к твоему отцу, да уж

деверь Михаил приехал за мной...

Но мы немного забежали вперед.

ГЛАВА ВТОРАЯ

- 1 -

Итак, я был творением тонкой материи, то есть не имел ни глаз, ни ушей, но видел и слышал и легко перемещался в пространстве, поскольку был невесом, как выдох, как летучее облачко... витающее по другую сторону видимого мира... в непостижимом пространстве, где вместо света сияние, вместо воздуха легкий эфир...

Черт побери, я вступаю за те пределы, где разум бессилен, и язык не в состоянии обозначить словами самые простейшие понятия. Тут неизбежно впадаешь в соблазн ложных словесных формул. Ведь «вдох» и «облачко», и «другая сторона», и «легкий эфир» – все скудоумно и крайне приблизительно по отношению к тому, что составляет обиход того запредельного бытия, в котором обитают бессмертные человеческие души.

Пожалуй, я ограничусь тем, что скажу: там я витал отнюдь не в одиночестве – подобных мне было много, возможно даже значительно больше, нежели живущих здесь. Они словно зрители в театре или на

трибуне стадиона, наблюдали за тем, что творилось здесь, на земле, как на сцене или игровом поле – наблюдали не безучастно, отнюдь.

Все они хотели стать действующими лицами великого действия, что совершается каждодневно под солнцем. Этим, и только этим продиктовано было мое нетерпение, когда стало ясно, что на мою долю может выпасть счастливый билет, я перейду разделяющую границу – или что это? – и стану существом, облеченным плотью, а потому подвластным законам нового бытия. Такое могло выпасть мне лишь в том случае, если вот эта девушка из калязинской деревни Хонино выйдет замуж вот за этого парня в соседнюю деревню Ремнево, только если за него и ни за кого другого.

Таков был расклад судьбы.

- 2 -

Мою мать сватали не единожды. Вишь, даже лавочник на Тамбовщине воспылал вдруг необоримым желанием жениться на ней. И каждый раз при таком течении дел замирало... я чуть не написал «замирало мое сердце», но о каком сердце может идти речь, если я, по-видимому, был лишь эфирным созданием! Это всего лишь жалкие наши выдумки, будто именно оно есть вместилище наших чувств. Я же, повторяю, был чем-то почти или вовсе невесомым и бесплотным, не имеющим ни формы, ни материальной сущности. И

тем не менее, мог радоваться и страдать, как всякий живущий, даже в большей степени. Я мог и воздействовать на ход событий земной жизни, как воздействует зритель из партера или с трибун на поведение актеров или игроков.

Итак, я приходил в великое волнение всякий раз, когда в деревне Хонино появлялись сваты и давали знать Нюше Ворониной, что они – к ней. Тогда я тотчас оказывался рядом, деликатно оттеснял своих невесомых и почти бесплотных (два-три грамма!) соперников, желавших того же, что и я: повернуть тот или иной эпизод земного, житейского действия в благоприятную для себя сторону, чтоб самому родиться на этот свет. Почему-то, по неизвестной мне причине, я мог обрести такую судьбу только в том случае, если поженятся Василий Красавин и Нюша Воронина. Если же будет иной супружеский расклад, то земную юдоль обретает кто-то из моих эфирных соперников. А потому я внушал невесте, что жених – плохой, что она достойна гораздо лучшего, надо только подождать. Кажется, именно мое вмешательство расстраивало ход сватовства; впрочем, может быть, я ошибаюсь. Однако же, факт не единичен: очередные сваты уезжали ни с чем.

Точно так же я поступал, если где-то на гулянье к ней подходил парень с предложением: «Позвольте с вами пройтись» – это была необходимая формула вежливости, принятая в молодежной дипломатии на-

ших мест. Я знал, чем угрожает лично мне это галантное предложение и спешил с советами:

- Не прогуливайся с ним. Он некрасив, глуп, неотесан, косноязычен. Зачем тебе такой? Быть рядом с ним не составит чести никому из девчат, а уж тебе и подавно! Ты – славенка, не забывай об этом. Слышишь? Не прогуливайся с ним.

Не судите меня строго: у меня были основания говорить так; и примите во внимание то еще, что я очень хотел появиться на свет, обрести земную юдоль – уж разумеется, не ради суетного наслаждения или счастья, а во имя испытания, познания и самосовершенствования. Именно в этом смысл и суть существования живых душ.

Я был настойчив в своих хлопотах, потому иногда она слушалась меня, хотя и не подозревала о том. Но иной раз мне же и возражала, будто себе самой: прогулка, мол, по деревне средь бела дня ни к чему ее не обязывает, все так гуляют, чем она хуже других? Что ж хорошего, если будет всегда одна? Подумают, что не нравится парням, не нужна никому.

Я мог видеть в великой досаде, как она прогуливалась под руку с каким-нибудь кавалером среди прочих гуляющих, и мог слышать радостные возгласы кого-то рядом с собой, чьи надежды на земную юдоль обретали пока еще неопределенную, но все же реальность, чьи шансы на нее вдруг возрастали. В таких случаях я устремлялся к тому, кто должен был стать

моим отцом, и подталкивал его: «Неужели ты это стерпишь? Это же наглость с его стороны! Накостыляй ему по шее!»

- Ванюху Воробьева отметелил, - вспоминает теперь мать. – Он ко мне гулять приставал, а Вася-то и наkostenялял.

Этот случай на моей совести. Равно как и другой:

- Пришел из Якимовской парень к нам в Хонино. Такой высокой да бравой, да красивой... И вот все поглядывал на меня, все поглядывал, а потом говорит: «Позвольте с вами пройтись». Я согласилась: чего ж, он мне понравился. Идем мы с ним по деревне, разговариваем, а навстречу, откуда ни возмись, ремневские идут целой партией, человек пятнадцать – в Ремневе много тогда парней-то было!

И далее мать уже с некоторой обидой о моем отце:

- И вот хватило же совести у Васи – он от своих да и шасть ко мне: «Позвольте с вами пройтись». И этого якимовского отпихнул...

Да, я помню свое ликование по этому случаю. И было отчего: бравый парень из деревни Якимовская мог свести на-нет все мои усилия, а это следовало пресечь в самом начале. Я восхитился тогда решимостью моего будущего отца, человека в общем-то мягкого и вежливого – именно таким он слыл в округе. Но когда дело касалось его жизненных интересов (и моих тоже), он мог проявить совершенно необходи-

мую твердость и отвагу, в чем я потом имел случай убедиться не раз.

- 3 -

Как видите, в моем тогдашнем эфирном бытии забот и хлопот было много. Еще то надо иметь в виду, что у юного отца моего появлялись время от времени «ухажёрки» и «милашки»: не только тот свет, что в окне, и не одна Нюша Воронина нравилась ему – мало ли красивых девок в округе! Так что беспокойства они доставляли мне немало, и чаши весов колебались в зависимости от тех или иных обстоятельств, событий. И уж совсем качнулись они не в мою пользу, когда Нюшу Воронину пришли сватать в очередной раз сваты солидные, серьезные, решительные.

- Сидим мы, девки, у нас под окошком на лавочке, праздник был, мирноносицы, - он по весне бывает, только-только снег сошел... Глядь, со стороны Овсяникова идут: жених в пальте майском, две нарядные свахи с ним.

Тут надо сказать, что Овсяниково стояло этак на возвышении, за низиной, в которой протекал ручей под названием Ир, соединявший ожерелье из множества бочагов, среди которых загадочный Белый Бурачок, слывший бездонным. В этот ручей в водополицу из Нерли заходили щуки метать икру, и летом в бочагах было полно юрких щурят. Мне в детстве казалось,

- и, наверное, справедливо! – что те бочаги для щурят то же, что для людей деревни: по узкой протоке ручья щурята, небось, плавали из бочага в бочаг погулять, поиграть друг с другом, как люди ходят в гости из одной деревни в другую... или вот сватать.

Овсяниково из Хонина прекрасно видно, до него не более полуверсты. В деревушке этой было около десятка изб, в Хонине же – десятка два, ну а в Ремневе – домов сорок, однако не больше.

Тогда довольно многолюдно было на этой земле, не то, что ныне. Ведь из того же Хонина выходило в разные стороны пять проселочных дорог, и на каждой не далее двух-трех верст стояли деревни: Ремнево, Задорожье, Плутково Малое и Плутково Большое, Спасское. А за ними на таком же расстоянии от Хонина – Пряжино с Василёвом, Соломидино с Береговым, Панютино, Сущёво, Дуброво, Селятино, Поречье...

По крайней мере половина этих деревень ныне уже сошла с лица земли, и я называю их имена затем, чтобы сохранились они в памяти людей. А то ведь теперь оставшиеся деревни уменьшились до критического состояния, и вот-вот уйдут в небытие.

Душа моя болит от этого и никак не может примириться с их потерей, как не можем мы примириться со смертью близких нам людей.

Овсяниково я уже не застал, но оно стоит в памяти моей матери, оно живо, равно как и тот день, когда с овсяниковской горки шли сваты...

- А как вы догадались, что это не просто гости к кому-нибудь?

- Дак, сразу видно! Чего ж не догадаться-то!

Сваты не в диковинку были не только в мясоед, но и по весне, когда женихи, ушедшие *в люди*, возвращались уже с заработком, в обновках, - вот и устраивались «сборные», то есть большие гулянья, «большие беседы». На *сборную* в ту или иную деревню приглашались те девки, которые на выданьи, со всей округи; тут парни себе невест и высматривали.

- Оposля сваты-те и идут... Я на сборных гуляла и в Ремневе, и в Плуткове, и в Соломидине, и в Спасском два раза...

- А этот жених, что в праздник Мироносиц явился, он был откуда?

- Из Зыковской – есть такая деревня за Поречьем, в Крутетчине. Я его и знать-то не знала, и не видывала никогда. Одна из свах гостила на свадьбе у кого-то в Хонине, вот она, видно, и нахвалила меня жениху. А еще той весной на Пасху ходили мы, хонинские девки, в Поречье – там большое гулянье было! Народу-то сколько! Видно, он, жених-то, еще там меня высмотрел. И чего ему втемяшилось, ить я с Васей была! Пришли мы, хонинские, а и ремневские тут. Ну и Вася сразу ко мне: «Позвольте с вами пройтись». Вот и ходили по селу. А веселье-то какое было! И гармоньи играют, и балалайки... Там поют, тут пляшут...

Однако вот хоть и с ухажером она там была под

руку, это не отпугнуло зыковского жениха.

- Как он тебя сватал, мам? Ну-ка, расскажи.

- А вот идут они в нашу деревню от Овсяникова-то – мы, девки, спрятались во дворе. Надо же, будто испугались чего. Вот дуры-то! А они к Катерине, к соседке нашей, зашли сначала.

- Отчего же не к вам сразу, к Ворониным? Ведь они тебя сватать пришли?

- Меня, кого же еще! Только так-то не принято, чтоб сразу.

- Почему?

- Дак вдруг я рядиться не захочу!

«Рядиться» не значит «торговаться», нет, – наряжаться, вот что.

- Отказ *рядиться* – жениху от ворот поворот?

- Ну да. Тогда они, может, другую невесту захотят посмотреть, не с пустом же назад идти. Глядишь, и сосватают, да и свадьбу сыграют. И так бывало...

- Ну, а в этом случае как? С зыковским-то?

- Пришли они к Катерине да и прислали ее к нам. Та пришла: так, мол, и так, к тебе, Нюша, готовься, мол.

- А ты, значит, не стала обижать их, нарядилась?

- Братчик сказал: гляди, сестренка, останешься в вековухах! На базаре, знамо дело, спрос на товар только с утра, а к вечеру по дешевке продают. Как бы и тебе, мол, не остаться на бобах. Ну, чего ломаться – нарядилась, встала вот так у переборки: тут я с мамой,

братчик – он вместо отца, раз я сирота. А народу-то собралось! Вся деревня сбежалась...

- Зачем?

- А как же! Сватовство ли, венчание ли, свадьба ли – это вроде праздника для всех. Так уж было принято, мода такая. Толпятся в дверях, пошучивают, смотрят, как невеста одета, что скажут сваты, а что им ответят хозяева. Сваты-то пришли, встали напротив, и жених с ними. Поглядели на меня, говорят: пусть невеста в другое нарядится. Меня сестричка повела в горницу: она впереди, я за ней. Перерядилась, опять встала.

- А кто велел переодеваться? Жених?

- Что это, жених-то! Он помалкивает, скромность соблюдает. Тут сваха дело правит.

- Что же, первый наряд не понравился им?

- Им главное знать, сколько чего у невесты, богатая или бедная. Поглядели, говорят: теперь пусть в зимнее оденется. А у меня, ить, все было! Лисяк, сапожки фетровые, шаль пуховая... Потом говорят: покажите всю сряду, какая есть. Сестричка вынесла из горницы вот так на руке мои платья, кофты, юбки, положила на стол. Ну, глядели, потом гостей пригласили *почайнить* – тоже так полагается.

- А свои-то деревенские, что на вас пришли поглядеть, тоже сели чаевничать?

Я большой любитель задавать глупые и наивные вопросы. Поверьте, у меня тут свой резон.

- Ну, нет! Как только хозяева да сваты за стол станут садиться – посторонние сразу выйдут. Им уж тут неприлично быть.

- Небось, самогонкой жениха угощали, а не чаем?

- Нет, братчик завсегда держал на случай сватов бутылку водки; закусочки собрали, ну и самовар поставили.

- Этак сватать можно бесконечно. Как захотелось выпить, так и поезжай. Не бывало у вас таких женихов?

- Ну что ты! Слава-то какая о тебе пойдет! Кто тогда тебя примет? Пальцем будут показывать.

Не было большей кары человеку, чем мера общественного осуждения, когда «указывают пальцем». Это уж худая слава, позор, потеря самого себя.

- И как же закончилось сватовство?

- Посидели за столом, тары-бары, они нам: приезжайте, мол, в Зыковскую на наш дом глядеть. Братчик им: спасибо, мол. Все, как полагается. А потом жениха я провожала. Так братчик велел: иди, мол, Нюша, проводи. Вот за деревню вышли до ручья, где у нас Белый Бурачок, бочажок такой, ты, небось, знаешь. Дальше, говорю, не пойду. А он: позвольте, мол, вас поцеловать. Ну, я говорю, это совсем не обязательно. Опять приглашал дом глядеть: посмотрите, мол, как живу. А я ему: коли было бы нынче это в обычае, конечно, приехала бы и поглядела. Но раз мода прошла... Раньше-то ездили, как же!

Жених отбыл восвояси, еще не получив решительного ответа, но уже обнадеженный и ободренный благоприятным ходом сватовства. Он должен был теперь ждать «весть» от засватанной девушки и, дождавшись такой *вести*, мог предпринимать решающий шаг: ехал к ней уже «*богу молиться*» – это когда молодых родители благословляют иконой, после чего девушка считалась «*сговоренкой*».

В этом месте материного рассказа я погружаюсь в длительное раздумье...

- 4 -

Боже мой! как разумно был устроен этот крестьянский мир – во всем свой смысл и лад, всему свой порядок; любое дело совершалось продуманно, степенно, в высшей степени пристойно и красиво, с сознанием того, что хоть и важно ЧТО, но не менее важно и КАК. Тут не просто обиход, не просто быт, а проявление вековой культуры, высокого искусства: мало знать, надо еще уметь – как сватать или просто сходить в гости, как отметить тот или иной праздник, как оказать уважение девушке ли, старику ли, ребенку ли... что прилично молвить в одном месте, что в другом... во что одеваться по тому или иному случаю – на все свой уклад, мода, правила. Нет, не строгие ограничения – просто руководство как вести себя на людях, разумные советы, исполнение которых охра-

няет достоинство каждого и возвышает душу.

Вот хоть бы простую вечеринку взять – «*беседа*». Это же не просто случайная сходка молодежи, а церемониал, освященный вековой традицией. Те деревенские беседы устраивались, по-моему, как некое подобие дворянских балов. Впрочем, не наоборот ли? Может, великосветские балы ведут свою «родословную» от крестьянских посиделок? Конечно, в деревне-то вместо обширных зал – тесные избы, в которых мазурку да польку не станцуешь; и вместо паркетных наощенных полов – скобленные половицы, натертые дресвой; и вместо множества свечей или электричества – керосиновая лампа, а вместо вальса да полонеза – нечто родственное тем пляскам да хороводам, что бывали под открытым небом, а тут приспособлены для малого пространства деревенской избы. Вот, к примеру, у нас «*ходили чижя*»...

Танец этот довольно сложен, и каждый тур его сопровождается музыкой – елецким, русским, просто чем-то неопределенным – «*солонушкой*» – и на гармонии, и на балалайке. Начинался он с того, что встанут парни вчетвером, вшестером и ввосемьмером, каждый себе девку выберет. И тут каждый шаг означен смыслом: кого пригласить, как пригласить, что при этом сказать... Выберут они, грянет гармошка, парни сойдутся в центр, притопнут, разойдутся, покружатся парами, кавалеры меняются домами... *Чижя ходили* с частушками и с лихой дробью – тут каждый

имел возможность «выходку показать», проявить обходительность, ловкость, остроумие; тут неоценима возможность дать кому-то что-то понять улыбкой ли, частушкой ли, нежным ли мимолетным объятием, ну и, конечно, развеселить, распотешить публику, запомниться.

За первым туром следовал второй, третий... пятый... наконец, заключительный; и для каждого свой музыкальный аккомпанемент, у каждого свой рисунок танца, свои возможности; в перерывах кавалеры меняли дам... При этом случались те или иные происшествия или просто многозначительные мелочи: кто-то что-то сказал, улыбнулся, обменялся с кем-то взглядами, кто-то нарушил порядок исполнения фигур танца и понес заслуженное наказание - его заставили поцеловать свою ли, чужую ли партнершу, а это дело непростое, поскольку надо преодолеть и свою и ее застенчивость.

Зрителей на *беседе* собиралось столько, что и не протолкнешься, чтобы хоть краем глаза посмотреть на главное действие. Двери распахнуты, но все равно духота; однако же зрители стояли часами, как в церкви на всенощной, - замужние молодухи, пожилые женщины, старухи, иногда и мужики тоже. Детишки их шныряли тут же под ногами, лезли на печь, на полати. Некоторые, уморившись, и спали тут, тогда как родители были просто не в силах оторваться от зрелища и разойтись по домам.

Задняя часть избы одобрительным ропотом или дружным смехом откликалась на новую частушку, на ловко выбитую дробь, на обходительность или неловкость парня, вогнавшего в краску свою подругу; обсуждали так и этак новичков, впервые пришедших сюда из другой деревни...

- А это кто же будет?

- Да то ли из Микулкина, то ли из Высокова?

- Андрей Семеныча двоюродный племянник!

- А не Маньки ли Лопотухи, что из Глебовки?

- Не-ет, у нее только девки.

- Эй, парень! Ты откуда будешь?

- Я -то? Из Плоховки.

- Эва! Мы и деревни-то такой не знаем.

- Э, да он шутит! Это ж Гаврилы Четверика, его родова... Он, ить, взял из Лучкина, овдовел и опять женился. Значит, младший. Хороший парень, худа не скажешь...

Пока «хороший парень» *ходил чижса*, обсуждали и его самого, и родню, и деревню, и свинарник в том колхозе, и кучу навоза возле свинарника...

Между тем вся изба ходила ходуном, девки кокетливо обмахивались платочками, выбегали на улицу прохладиться, а тут среди сугробов «*милёнок*» укрывал свою «*милашку*» пиджаком, самоотверженно заслонял от морозного ветра.

Беседа таким манером продолжалась далеко за полночь: ночи длинные, спешить некуда – не летнее

время.

Нет, самому мне гулять на таких *беседах* не пришлось. Но я на них присутствовал! В числе вот тех, что шныряли под ногами, бегали вокруг избы и подсматривали, куда это Костяха или Мишака положил свою дерзновенную ладонь Вале или Гале, прикрывая ее пиджаком.

Эти вечеринки-беседы умерли в начале пятидесятых, и на мою долю уже не достались. Еще старший брат мой *ходил чиж*, но уже словно бы не всерьез, словно бы потехи ради.

Череда трудов и праздников, песни и танцы, понятия о приличиях и долге, о чести и достоинстве, родственные связи и обязательства, родословные, не уступающие дворянским по глубине отдаления в историю... Этот крестьянский мир уже ушел от нас, его не вернуть, не воскресить. Он так далеко, что ныне едва различим. Речь может идти о том лишь, чтоб оглянуться и посмотреть ему, уходящему, вслед прощальным взглядом.

К моему-то жениховскому времени упростилось все до сущего примитива: ни свих со сватами, ни мальчишников с девичниками, ни свадеб с венчаниями...

Помню, я со своей будущей женой пришел в ЗАГС. Дело было в Красноярске, студенкой зимой; отпросились оба с работы... И что нас подвигло на сей поступок? Жили оба в заводском общежитии, у нее в

комнате две соседки, в моей комнате два соседа. То есть никаких условий для супружеской жизни. Что же нас толкнуло к заключению брачного союза? Необъяснимо.

Впрочем, в мире тонкой материи, где обитают бессмертные души, кто-то очень хотел обрести земную юдоль, и уж он-то наверняка внушал и подталкивал... Если, конечно, принять это во внимание, то наш поступок понятен. Вот и заняли мы, жених и невеста, очередь в полутемном коридорчике ЗАГСА; впереди нас - плачущая старушка, пришедшая зарегистрировать смерть своего мужа; позади – женщина пожилая неведомо с какой заботой. Она все страдала за нас:

- Да миленькие вы мои, какие молоденькие! Да поживите так, погуляйте еще.

Ничто не могло нас остановить, и, отстояв положенное в очереди, зашли мы в тесную комнатку, не раздеваясь, присели возле канцелярского стола, расписались в какой-то книге – на том церемония и кончилась. Вышли на улицу – ветрено, морозно.

- Мне пора, - сказала та, что стала моей женой: ей надо было идти во вторую смену.

- Подзадержались мы, - отвечал я озабоченно, поскольку в своем конструкторском бюро мог схлопотать выговор: отпросился-то на час, а очередь отняла больше.

И ни сватов, ни застолий, ни любопытствующих зрителей, ни... долго перечислять: ничего не было.

Даже вечеринка в общежитии была нам не по карману, и ее мы не устраивали.

Но все это так, к слову, речь не обо мне – о моей матери.

- 5 -

Мой будущий отец проявлял возмутительное благодушие и беззаботность в эти дни. Вернее, у него были иные заботы: друг его, Федюха Кустов, женился.

- Вася-то шафером у него был... Все наши хонинские, помню, отправились на эту свадьбу глядеть, а я не пошла, осталась с племянником нянчиться: Володя был маленький.

Да и то сказать: как это она пойдет в Ремнево, если ее вчера сватали, и хоть она согласия еще не дала, но ведь обнадежила зыковского парня, не отказала сразу.

Тут уж чувствуется в рассказе матери некоторая обида на моего отца: ишь, ее сватают, а он на чужой свадьбе веселится. Кто же так делает? В какое положение он ее поставил! На смех, что ли? Почему не идет впереводку? Небось, и самому надо было прийти или своих сватов слать, а то ведь ни гу-гу. Как тут не обидеться...

Шафер на свадьбе – к хонинским с вопросом, чего это, мол, Ньюши нет? А те ему: разве не знаешь – ее вчера сватали, нынче уж поехали на дом глядеть.

Не знаю, как отнесся к этому известию мой отец: обеспокоился ли, встревожился ли, обиделся ли в свою очередь. Должно быть, я был в это время возле своей будущей матери, озадаченный ее поведением: вдруг решит послать благоприятную весть в Зыковскую!

- Ну, потом Шурка Кириллова прибежала ко мне и стала уговаривать: пойдём да пойдём в Ремнево на свадьбу глядеть. Вот и пошли. Явились – Вася *чижа ходит*.

Это уж было вовсе для нее оскорбительно; в голосе рассказчицы чувствуется, как она была задета: в такой решающий для нее день веселился!

- Ну, он сразу ко мне: пойдём пройдемся. Что ж, пошли. Разговор заводит: какие, мол, новости? А никаких нет, отвечаю. Как же нет, говорит, коли тебя сватали вчера. Что ж, мол, скрываешь? А я и не скрываю: сватали, верно. «Ну, и что ты решила?» – «Чего тут решать: я не у родного отца живу, а у брата. Сколько можно в девках сидеть! Пора и замуж». Тут он стал уговаривать: погоди да погоди, мол. А ему осенью на призыв идти, в армию, значит. Мне-то какой интерес его ждать? Вернется через три-то года – что у него будет на уме? Пес его знает! Нет, говорю, я ждать не стану. Сказала: «А что тебе до меня? Али у нас связь какая? Ну, провожал. Ну, гуляли по деревне... Чего ты вдруг забеспокоился? Найдешь себе другую, - это я ему. – Вон хоть бы Настька Чаркина, моя подруга, чем

тебе не пара?» – «Нет, говорит, другой мне не надо». – «Ну, на то твоя вольная воля».

Да, мне кажется, я помню тот их разговор. Это не было согласной беседой, а более походило на противоборство. Тут каждое слово значило многое, и всякая неловко произнесенная фраза могла рассорить их навсегда.

- Тогда и говорит: «Что же, али не нравлюсь тебе?» – «А кабы не нравился, так я б из-за тебя стольких женихов не упустила, давно б замуж вышла». А он знал, что так оно и есть. Ему ли не знать! Ну, поговорили, я и отвернулась. Рассердилась на него. А на другой день явился он к нам в Хонино, опять стал уговаривать: не выходи, мол, Нюша, замуж, два-три месяца подожди: отец, мол, болеет... то да се... Потом сватов пришлю. А я одно что: «Нет, ждать не стану. Немало уж я ждала. Решай теперь сам: или женись, или я замуж выхожу». Он и так, и сяк... Потом говорит: «Завтра поеду в Калязин, посоветуюсь с отцом».

Бабушка моя Орина Сергеевна решительно возражала против женитьбы старшего своего сына: молод еще – двадцать один год всего; осенью на службу идти; к тому же Федор Иваныч в Калязине лег на операцию – до свадьбы ли в такую пору?

Но тут дед мой сказал свое веское слово жене, когда та пришла в больницу проведать его:

- Орина, не оглядывайся на меня, жени Василия. Это было его единственное, но решающее благо-

деяние для меня, еще не родившегося внука: неделю спустя после свадьбы сына он умер.

- 6 -

Дед мой Федор Иваныч Красавин, уйдя на войну в четырнадцатом году, оставил дома жену Орину с двумя малыми детьми: старшему Василию было столько же, сколько мне в сорок первом, когда мой отец ушел на фронт, - три с половиной года.

Федор Иваныч попал в плен и несколько лет скитался по Европе после окончания первой мировой. Будучи человеком малограмотным и, естественно, не зная чужих языков, он тем не менее прошел Германию, Бельгию, Голландию и через Данию вернулся в Россию уже после Гражданской войны. Я ж сказал, что в нашей стороне народ ходовой, предприимчивый и к ремеслам счастливо способный – то и выручало моего деда. Он вернулся под родимый кров, то есть под соломенную крышу, в непривычном облике: чисто выбритый, не по-здешнему одетый... Родная мать едва узнала его, не говоря уж о детях, - Васютка потому и имел прозвище Баушкин, что вырос без отца при бабушке. Жена Орина трепала лен на чердаке, когда муж поднялся к ней по лестнице и окликнул ее.

«Я уж отвыкла от мужа-то – эва сколько лет прошло! – признавалась она. - Не чаяла и увидеть... На ночь спать ложиться, а я не могу: он чужой-чужой».

Орина Сергеевна была взята замуж Федором Красавиным из деревни Микулкино. Кстати сказать, то совсем рядом с деревней Зыковская. Нынче от Микулкина не осталось ничего, кроме нескольких ветел. Их было три сестры в семье Стрельцовых: старшая Александра, средняя Орина, и младшая Дарья – это та самая тетя Дарья, которая предсказала мне смерть во младенчестве.

Бабушка моя была женщиной суровой, со мной не шибко ласковой: наверное, тот факт, что сын Василий женился против ее воли, повлиял на ее отношение к невестке и внукам, а может, она интуитивно чувствовала, что я-то и есть главный виновник взаимного влечения этих двоих...

Я, ликуя, витал над тем проселком, соединявшим Ремнево и Хонино, когда по нему шел мой отец сватать мою мать. Она очень живо вспоминает:

- А меня как раз послали Заполок оборонить...

Заполок – обширное поле у леса под названием Болхино. Оттуда видно и Ремнево с Хонином, и дорогу между ними.

- Вот бороню и вижу: идут! Вася с мамашей и с ними тетя Саша... А у меня доборонить-то осталось всего ничего, я лошадь подгоняю... да потом в деревню чуть не бегом – въехала в прогон, сама не своя, запыхалась; сваты-то в деревню входят, уже возле колодца. Шурка Поляков говорит: ладно, Нюш, беги, я твою лошадь – распрягу. Уж так выручил!

- Ну и что же, опять тем же порядком – сваты пошли к соседке?

- Нет, сразу к нам. Нарядилась я, вышла из горницы, встала вот так у переборки, а они на лавке сидят: и Вася, и мамаша, и тетя Саша. Вася говорит: «Ну, чего ты встала, Нюша? Садись рядом». Я и села рядом с ним.

Вот в эту минуту и решилась моя судьба – они соединились, стали мужем и женой. Я чувствую странное облегчение даже теперь: мои будущие родители сидят рядом, плечо к плечу – это залог того, что мне родиться!

- И что, опять вся деревня собралась? – спрашивал я, желая еще побыть в той атмосфере.

- Нет, никого чужих не было. Тут уж на что глядеть-то: Васю все знали. Они пришли сразу *Богу молиться*, а не ради смотрин. Тут уж мама благословила меня и икону мне подарила: береги ее, Нюша, а не убережешь – счастья не будет. Не уберегла в войну – вот счастья-то и нет...

Мать сидела, горестно качая головой.

- Стол собрали? – спрашивал я, чтоб отвлечь ее от печальных мыслей.

- А как же!.. Сговариваться стали: когда и как, что готовить... До свадьбы-то еще к брату моему в Калязин гостить ездили: и братчик с сестричкой, и мамаша, и мы, жених да невеста. Я в черном платочке – *сговоренка*, значит...

В назначенный день той же дорогой, по которой мой отец-ухажор ходил к моей матери еще только ради вечернего провожания, по которой и сватать приходил, по ней из Хонина в Ремнево повезли приданое - от Нюши Ворониной к Василию Красавину.

- Я замуж выходила – приданое на двух подводах везли! – с гордостью, а то и с укоризной по отношению к своим невесткам говорила мать: невестки ее бесприданницы обе.

В этих словах не чванство и не спесь – избави Бог! – а вот именно гордость: не добро, доставшееся по наследству от дяди или тети, стало приданым – все заработано своими руками, своим трудом, сбереженное, накопленное.

На одной подводе постель – на матрасе соломенном одеяла: ватное, стеганое и легкое, шерстяное; простыни, пододеяльники, покрывало, подушки пышные в наволочках с кружевами под кружевной накидкой, подзор тоже кружевной... На другой подводе сундук с добром и кое-какая хозяйственная утварь. В сундуке плотно домотканое для рушников и сами рушники, уже вышитые, и новые половики, и одежда зимняя (шуба на лисьем меху!) и летняя, обыденная и сряда (для праздников), и обувь – туфли, сапожки фетровые, валенки с калошами, и шали, и платки...

Был хороший день начала лета; посевная только только закончилась; возили навоз на паровые поля, пололи лен. Пока везли мимо работающих на поле,

бабы ремневские подошли посмотреть приданое, как это и принято было в те времена.

- А ну-ка, поглядим, чего тут Василию Федрычу...

Давняя материна подруга-соперница – вместе играли в детстве, вместе работали, вместе гуляли на *беседах* – Шура Лебедева, родная сестра Насти Чаркиной, насмешливо улыбалась:

- Да чего уж! Эка невидаль...

Шура моложе моей матери на два года, но вышла замуж в Ремнево за Василия Лебедева несколько ранее. Они соперничали всегда, по любому поводу – сначала игрушками, потом девичьими нарядами, потом мужьями и, наконец, детьми. Причем младшая была нападающей стороной, а старшая обороняющейся. Шура обладала замечательным качеством по любому поводу говорить что-нибудь скептически-насмешливое, и выходило, что сущий вздор это и недостойное дело.

- Да чего уж! – то и дело слышалось и при осмотре приданого, когда бабы отгибали край ватного одеяла, проверяя, атласное оно или попроще, пока считали простыни да разглядывали вышивку на рушниках, кружева на подзоре...

Потом все детально обсуждалось и помнилось долго: кто как выходил замуж, у кого что было, а чего не было.

Приданое Нюши Ворониной подвезли в Ремне-

ве к крыльцу красавинского дома, и жених самолично принимал привезенное добро, собственноручно таскал его в дом под шуточки и пожелания собравшихся поглазеть соседей.

Назавтра было венчание и свадьба.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

- 1 -

Вскоре после свадьбы сходили молодые в Калязин – семнадцать километров пешком в один конец! – чтоб только сфотографироваться. Видно, это считалось важным – оставлять на память детям и внукам свои портреты. А что еще может свидетельствовать о том, что были они – отцы-матери, деды-прадеды? Никаких иных свидетельств о жизни, даже намогильных плит нет.

Вот они стоят, мои еще юные родители... Отец высокий, статный, в костюме и опять при галстук-бабочке, в начищенных до блеска штиблетах; кепка с большим козырьком на лобастой голове; красивые руки с длинными пальцами; лицо хранит еще юношескую припухлость – несколько лет спустя, на маленькой фотокарточке в паспорте лицо это приобретет замечательную мужественность. На маленькой-то ви-

ден уже не юноша, а муж – человек спокойного, уравновешенного характера, несуетливый, степенный, домовитый глава семейства. Но это потом, а пока...

Моя мать ростом ему по плечо, кисти опущенных рук не по-девичьи крупны от работы, ими совершенной; на ней легкое полупальто, широкий кружевной воротник выпущен наверх – сряда праздничная, береженная в сундуке.

По одежке-то своей родители мои не похожи на людей деревенских – видно, что нередкие поездки в *люди* через Москву, Тамбов, Курск и прочие города подравнивали деревенскую моду калязинских деревень под городскую.

У обоих на лицах ни тени улыбки – они уже люди серьезные, самостоятельные, полны достоинства и сознания того, что запас сил позволит им построить счастливую жизнь и себе, и своим будущим детям.

Я всматриваюсь в фотографию: матери здесь двадцать три года, отцу – двадцать один.

- А я стыдилась, что старше его. Расписываться пошли в сельсовет, в Спасское, я ему дорогой и говорю: «Вась, ить я старше тебя на два года». А он мне: «Да я знаю. Ну и что ж тут такого!»

Нет случайности в том, что они поженились, равно как вполне закономерно и мое появление на свет: таково было расположение звезд.

- 2 -

Моя мать всегда любила свой дом, то-есть жилье, само строение, в котором жила, - так было во всякую пору ее жизни. Главным в хозяйственных устремлениях она считала именно хлопоты и заботы о доме.

Но вот в пору великой ломки крестьянского уклада – раскулачивание, коллективизация – жизнь подсказывала: не стремись к домовладению, коли хочешь уцелеть; будь нищим, будь неимущим пролетарием, они хозяева жизни. Однако же мечта занять свое собственное жилье была неистребима в моей матери, наверное, с раннего детства; теперь же, когда вышла замуж, обрела главенствующее значение.

Домишко красавинский, в котором она стала жить, был покрепче и попросторнее воронинского.

- Уж и не знаю, чего тому домику не постоялось, - жалела она его. – Ить, помоложе, поновее нашего был.

Он закончил свое существование, кстати сказать, уже на моих глазах – это случилось не столь давно. Им владели чужие люди, несколько лет он стоял брошенным, потом его разобрали на дрова.

- А поставили-то когда? Федор Иваныч пришел из германского плену и стал строить. Значит, году в двадцать втором или двадцать третьем.

Стоит ли удивляться тому, что не простоял долго этот дом, – гораздо удивительней, что не сохранилось

и строение того хозяйственного мужика, которого мать называет Васюткой Лексевым. Не уцелела и хоромина Козляковых – вот это был дом так дом! Крепкий пятистенник с просторными сенями, с горницей, под четырехскатной крышей, с огромным крытым двором для скотины...

Я думаю, при естественном течении жизни, при ненасильственном ее устройстве вряд ли в дальнейшем семьи Ворониных да Красавиных остались бы в Хонине да в Ремневе, чтоб пахать землю, сеять хлеб. В каждой деревне уже проявлялись тогда по две-три семьи умелых и работающих земледельцев, талантом своим призванных к крестьянскому делу, а прочие неизбежно были бы вовлечены в промышленное производство, артельное или фабричное, и пополнили бы число рабочих, к чему, собственно, и чувствовали предрасположение.

Но все пошло не так... в итоге пролетариями стали истинные земледельцы, а земледельцами – люди, принужденные к тому силой и обстоятельствами. Нарушился порядок жизни, словно страхом и болью ускорили ход беременности... и преуспели в этом: появилось на свет нечто уродливое, пугающее, и что нам теперь с ним делать?

Мой отец обучился валянию валенок, он стал мастером, умевшим изготовить и «полудлинники» да «заколенники» для зимней мужицкой работы – скажем, пилить лес, ехать в извоз; и совсем махонькие на

годовалого младенца; и снежно-белые или угольно-черные щегольские для парня-форсуна или девки-модницы, покрашенные или естественного цвета, вычищенные пемзочкой, с изящными очертаниями головки и голенища – я знаю красоту таких валенок и готов любоваться ими, как произведениями искусства. Надо полагать, мой отец валял именно такие, поскольку его ценили: отправившись «в люди» (в Новгородскую область) и поработав в месте знакомом, обретал там такой авторитет, что и на будущий год его звали приехать сюда вновь.

Что же касается моей матери, то она к тому времени стала хорошей *сновалицей*, а это ремесло, как я уже говорил, не каждому дается, тут природный талант нужен.

Поженившись, мои родители оказались, что называется, два сапога пара; способности одного счастливо дополняли способности другого. В этом союзе был залог того, что расти бы мне в семье дружной, в достатке, и по крайней мере до взрослого состояния не знать большой нужды. Такая, вроде бы, уготована была мне участь еще до моего рождения, если бы потом кто-то не распорядился иначе. Потом... но сначала молодые усердно работали в колхозе.

К этому времени все отцовы товарищи переженились, в деревне Ремнево между ними шло соперничество, кому лучше удастся семейная жизнь. В свободное от колхозной работы время (это, по-видимому,

зимой) они валяли валенки.

Валяльная мастерская – *стируха* – была в деревне большая, общая. Работали там сразу пятеро-шестеро молодых мужиков.

- За работой и песни поют, и пошутят – весело у них! Я, бывало, приду Васю обедать звать, а у них уговор: проверить да сравнить, кого молодая жена как называет. Одна скажет: пойдём, мол. И все. А другая иначе, поласковой или поглубе. Так иного и осмеют: эва, мол, как тебя молодая-то величает!

- А ты как звала?

- Про меня говорили: ну, мол, Василей, тебя Нюша любит, если так ласково.

Тут дело, по-видимому, не в словах, не в форме обращения, а в тоне голоса.

Осенью, как и ожидалось, отца моего призвали в армию. Семья проводила его честь-честью, как и принято в деревне, то есть с прощальным застольем и пеньем «Последний нонешний денечек». Моя мать поехала с ним до Калязина – по обычаю председатель на проводы подводу дал. На станции в Калязине, кстати сказать, случилась деликатная встреча:

- Я-то не заметила, да Вася говорит: «Нюш, а ты видела своего жениха-то?» – «Какого ещё жениха?» – Да который сватал-то тебя, из Зыковской-то» - «Ой, Вась, не видела» – «Ну, как же ты не видела! Что ты скрываешь! Мы мимо шли, а он возле вокзала на лавочке сидел!» - «Ты бы мне хоть показал! Я его и не

рассмотрела, как следует, этого жениха, ей-богу». Потом, как Васю-то проводила, поехала домой, а уж и не знаю, может, поджидал бывший-то жених или так уж получилось: я еду, а он с подводой своей стоит возле железнодорожного переезда. Впереди меня баба ехала из Василева, тоже мужа провожала, за ней я, а этот, зыковский-то, сзади. Он поздоровался, ну и я ему в ответ: здравствуйте, мол. Спросил: «Чего же ты не пошла за меня?». А я ему «Да так... не хотелось, мол, далеко от мамы. Вышла в соседнюю деревню» – «А я ждал...». Это он надеялся, значит, что я ему весть пришлю: согласна, мол. Да уж где тут! Не судьба. А вы, спрашиваю, не женились еще? Нет, говорит, не женился... Вот как он, тот парень, потом-то? Небось, тоже в войну убили...

Мне немного жалко зыковского жениха моей матери. Некоторым образом я даже чувствую свою вину перед ним и утешаю себя тем, что судьба послала ему достойную жену и добрых детей. Утешив себя таким образом, я продолжу повествование.

Мать уже примирилась с тем, что ждать ей мужа, то есть моего отца, придется долго, года три, как вдруг под вечер...

- Вышла из дому и слышу: идет мой Вася от Пряжина к Ремневу-то и поёт. Издалека слышно! А у него это в привычке было: куда б ни шел, куда б ни ехал – все с песней!.. Уж и не знаю, почему, но дали ему в тот раз отсрочку, отпустили домой. Я как кинулася его

встречать! Обрадовалась очень...

- 3 -

Чез три года, уже после появления первенца... нет, тем первенцем был не я, а мой брат. Старший, естественно.

Когда уже приближался желанный для меня срок – о, боже милостивый! – я был бесцеремонно оттеснен, и сначала-то на свет появился он.

Я не уверен, что братец мой принимал такое же горячее участие в создании супружеского союза наших родителей и хлопотал так же много и настойчиво. Меня не оставляет подозрение, что он подключился только на завершающем этапе, когда все было уже решено. Именно в эту пору возник он рядом и отстранил меня решительно и неделикатно: «Погоди, успеешь... Сначала я». Он родился первым и встал надо мною, как старший по званию, по положению.

А почему, собственно, я уступил? Почему сразу же смирился перед несправедливостью, не дал отпор, будучи столь глубоко обиженным? Наверно, от меня тут мало что зависело. Я уступил не ему, а некоей высшей воле, сознавая ее святое право распоряжаться нашими судьбами. Но такая очередность появления на свет, надо прямо сказать, сразу же определила стиль моих отношений с братом: он более сильный, а я, видите ли, слабый, следовательно, должен усту-

пать. Смириться с этим непросто, согласитесь.

Обида, которую он мне нанес своим бесцеремонным вторжением в мои интересы, была первой в длинной череде обид. Судите сами: он первенец – ему самая жаркая ласка и самое пылкое восхищение родителей, а что до меня, то и любовь ко мне, и восхищение уже вторичны, как нечто уже пережитое, испытанное, знакомое.

Ему новенький костюмчик и велосипедик... а мне – уже ношеное, подержанное, бывшее в употреблении. Как это было переносить мне, с моею гордостью и самолюбием? И так по каждому поводу. Поэтому, я думаю, всякому понятно то негодование, с которым я родился, - оно от несправедливости устройства мира. Память об одном из моих отчаянных протестов занесена в анналы нашей семейной истории: однажды, когда брату было пять или шесть лет, а мне вдвое меньше, он заявил, что будет «лётком», то есть лётчиком, - тогда это было то же, что потом стать космонавтом. Родители, понятное дело, восхитились желанием первенца, а я не замедлил стукнуть его молотком по лбу: «Нет, это я лётком буду!», и мой постоянный обидчик залился отчаянным рёвом.

Такое поражение братец от меня испытал впервые; оно было столь ощутимо, что и поныне страдает его самолюбие, потому он даже отрицает: не было, мол, этого! Конечно, молотком по лбу – это слишком; молоток – аргумент варварский, но как было остано-

вить агрессивного братца, желавшего захватить все блага мира, а мне оставить жалкие крохи?

Вообще-то он рос смиренником, мой старший брат; он был скромным трусишкой, собственной тени боялся, и вот именно на мне восполнял недостаток своего мужества: ему хотелось быть сильным, храбрым, и он помышлял мной, как хотел, с помощью грубой силы, морального и физического террора. Все-таки разница в годах – чуть не три года! В малом-то возрасте она решала любой спор в его пользу. Это теперь мы можем взять друг друга за грудки, и неизвестно еще, на чьей стороне будет перевес, а тогда...

Но речь не о нас с ним, речь – о нашей матери.

- 4 -

После появления на свет первенца, у которого с момента рождения на роже было написано, что это будущий отличник, послушный и прилежный мальчик, одним словом, умничек... после его рождения мои родители решили уехать в город, то есть переселиться для постоянного проживания там.

- А чего это вы надумали уехать, мам? Как это вам в голову пришло и почему?

- Да в колхозе-то на трудодни не доставалось ничего! Бедно стали жить, голодно и год от году все хуже. Каждый кусок хлеба на счету! На работу, бывало, собираешься рано утром – косить ли, молотить ли

– думаешь: хоть бы хлебца с собой прихватить! Так нет: мамаша строгая была, поди-ка у нее возьми. В семью-то большую я пришла: у свекрови пятеро детей, младшему Ванюшке четыре годика. Сядешь, бывало, обедать, ребятишки щи хлебают – друг дружку отталкивают – мне это дико было! Я выросла в другой семье, у нас такого не бывало, мы посытнее жили; а замуж вышла – всегда поесть хотелось. Из-за стола вставала голодная. Мужу пожалуюсь: поесть, мол, хочется. А он: ну, Нюша, что же ты за обедом-то стесняешься? А у матери попросить для меня побайвался. Вот так. А работа-то в колхозе какая! С рассвета до сумерек, без выходных. Может, только лошадям тяжелее... Да Васю всё норовили поставить то кладовщиком, то заведующим фермой, а время строгое было: чуть что случится со скотиной или на складе – в тюрьму. А от должности не откажешься! Тоже, поди-ка, откажись. Велят: становись, да и все тут.

- А как вам удалось уехать? Ведь паспортов не имели. Или перед войной можно было добыть паспорт?

- Как бы не так! Справку давали на время... Осенью, как полевые работы кончатся, отпускали со справкой в *люди*. Заработать-то колхозникам надо маленько! А иначе совсем беда. Ну, не всех, конечно, отпускали, а вот если натрепleshь льну столько-то – глядишь, отпустят на сезон до весны. Я помню, натрепала много, больше всех, мне премию дали: красный

платок. И отпустили нас с Васей в *люди*. Уехали мы да и не вернулись: Вася в Новгороде, вроде бы, кому-то в лапу дал, ну и выправили нам паспорта.

Говоря современным языком, они стали невозвращенцами. То есть покинули пределы своего родного государства-колхоза, уехали, так сказать, на гастроли, и не вернулись, пренебрегли своим колхозным гражданством ради вольной жизни на стороне, насколько она тогда была возможна.

- А почему вы именно Новгород выбрали? Лишь бы подальше, что ли?

- Там наша родня жила – Субботины. Твоего дедушки Федора Иваныча сестра родная, тетя Варя, Варвара Ивановна; она вышла замуж за Семена Субботина в Глебовку, а там их раскулачили и сослали. Они сколько-то на высылке были, потом им разрешили вернуться. А видно, не все отобрали у них, успели Субботины деньжонки-то спрятать, вот и купили в Новгороде дом. Семья у них была большая: дядя Семен, тетя Варя, двое женатых сыновей – Дмитрий с Груней да Леня с Капой; и дети ихние. А дочка Таня вышла замуж за Федора Козлякова, тоже из раскулаченных. Федор-то тебя крестил, крестный он твой. Они все друг за дружку держались – у Козляковых дом, у Субботиных тоже... Вася у них раньше бывал, еще до женитьбы, вот мне и нахваливал.

- В Ремнево вы потом возвращались?

- Приезжали, как же... Гостили раза два. Да ведь

знаешь, как на нас тогда смотрели? Вот, мол, из колхоза убежали. Зависти-то сколько! Помню, сидим с Васей на лавочке возле дома, а как раз звонок дали с обеда. Ну и идут, глядим, вдоль по посадку в нашу сторону бабы и мужики ремневские, и уж какой-то разговор у них про нас не больно хороший; хотят, видно что-то сказать нам. Вася говорит: «Давай, Нюш, уйдем от греха...» Встали мы да и ушли в дом.

Замечу кстати, что эта неприязнь сказывалась и после войны, когда мы поселились в Ремневе. Но это было потом, о чем речь впереди, а пока что сельский мир, именуемый теперь уже колхозом, отторг их, досадуя и завидуя: молодые Красавины стали горожанами...

- 5 -

Новгородский период в жизни нашей семьи распадается на несколько временных отрезков, каждый из которых как бы самостоятелен, во всяком случае имеет свои непохожие и очень характерные черты.

- Вот, помню, сняли мы комнату в Воскресенской слободке...

Это время в преданиях нашей семьи так и значится: «когда жили в Воскресенской слободке». Ну, меня тогда еще не было на свете, значит, таковой период в моей жизни отсутствует. Это – материно да отцово достояние; в какой-то степени и достояние

моего старшего братца Вити, столь бесцеремонно отстранившего меня и потому родившегося раньше – никогда ему этого не прощу! Из-за него я не пожил в Воскресенской слободке...

- Пустила нас хозяйка Маланья Николавна в комнату, в которой раньше кур держали да гусей – такое небольшое помещенье, вроде пристройки. Ну, мы все выскоблили, вымыли; обоев-то не было – газетами оклеили... И так-то у нас хорошо стало! Я рада была до страсти!..

«Рада до страсти» – обычная ее формула для обозначения полного счастья.

- Чему ты так радовалась? – пытал я. – Ведь курятник, только и всего. Пахло там, небось, куриным пометом.

- Ну, как же не радоваться, сынок, - ить, свой угол!.. Великое дело, когда есть где приткнуться, есть куда голову приклонить.

Ту Воскресенскую слободку окружали древние храмы: с одной стороны – Кремль с Софийским собором; от Ильменя – Юрьев монастырь с Георгиевским да Крестовоздвиженским соборами, за Волховом – Ярославово Дворище со множеством куполов; за пойменным лугом вдаль - церковь Спаса на Нередице.

- Белье полоскать пойду – красота-то какая! И вольно-то как – река большая, озеро огромное, луга кругом. После деревни мне там очень нравилось.

Надо было видеть вдохновенное лицо матери моей, когда она рассказывала это: даже то, что бывший курятник не отапливался, холодно в нем было, еду готовили на керосинке, тут же и стирали, и купали умничка Витю – все это она вспоминает со своеобразным удовольствием и даже умилением.

В ту пору, как я догадываюсь, в душе моей матери произошла великая культурная революция: выросшая в маленькой деревушечке, она вдруг осознала себя горожанкой, жительницей не какого-нибудь заштатного городка, а древнего Новгорода, столь богатого дивными храмами. Она как бы стала на новую, более высокую ступень, и оглянувшись, и осознала себя по-иному, и возрадовалась.

Дымкой воспоминаний донныне подернуто прошлое; дымка эта облагораживает, скрывая неприглядные детали. Что там комната, оклеенная газетами, в которой они жили, с кухонными удобствами в виде керосинки и неистребимым запахом куриного помета! Главное – она была молода, рядом был муж, семья имела свой угол, свое гнездо... Разве не прекрасна жизнь!

От той поры осталось у матери моей вот это обращение к незнакомому человеку: «Гражданочка!.. Гражданин!» Недеревенское, городское обращение, должно быть, поразившее и восхитившее ее тогда, а потому и усвоенное на долгие годы.

Поживши в курятнике на Воскресенской слобод-

ке, родители мои переселились к Субботиным, где занимали комнатку попримичнее, но тоже не ахти какую, особенно в смысле житейских удобств.

Счастливая пора не оставляет воспоминаний. Мы помним лишь несчастья да испытания. По известной формуле «брюхо добра не помнит» и память наша хранит лишь общее впечатление, без деталей. Так и мать про ту пору скажет лишь: «Это когда мы у Субботиных жили...»

- 6 -

До конца жизни в ней оставалось: так и встретится при одном только упоминании о Новгороде - откликается на это слово, как на свое собственное имя. Для нее «Новгород» не просто название города, а нечто кровно родное, обозначение самого счастливого периода ее жизни.

Основной строй этой жизни был таков:

В начале осени мой отец отправлялся из Новгорода как бы на разведку в сторону Батецка или Старой Руссы, в Боровичи или на Валдай.

- Вася-то самостоятельный был, к людям подходчивой, его все любили. Где ни устроится – его только по имени-отчеству: Василей Федорыч да Василей Федорыч. Карахтером легкой, все бывало с улыбкой, слова грубого никому не скажет.

Прежде всего мои родители на заработанные

деньги купили шерстобойную машину – покупка солидна, для работы совершенно необходимая: шерстобойка для валялы – что лошадь для крестьянина или лодка для рыбака.

- Помню, приходит и говорит: вот, Ньюша, продается шерстобойка, на шариковом ходу, да у меня денег-то не хватает. Знамо, откуда деньгам быть! Вася мне давал на неделю по шесть рублей – это на продукты, значит. Так я покупала что подешевле: булку-то не белую, а серую, молочка немного, а уж масло-то не брала. На всем сэкономила, ну и накопила, помню, двадцать рублей – вроде как тайком от него. А тут он сказал насчет машины и что деньжонок, мол, не хватает, я и выручила: вот, говорю, Вась, я сберегла. Уж так он удивился да обрадовался! Все головой качал: ах, говорит, Ньюша, Ньюша. И купили мы машину – уж больно хороша! Легкая: крутишь – не устанешь.

В начале валяльного сезона, то есть в сентябре-октябре, отец перевозил эту шерстобойку по железной ли дороге, на телеге ли из одной местности, где он уже обул на зиму нуждающихся, в другую, где они еще разуты. Машина была довольно громоздкой и тяжелой – перенести ее с места на место под силу четверым мужикам, не меньше. И вот привезет он ее, да «снимет квартиру», да обустроится маленько, то есть наладит шерстобойку, оборудует валяльную мастерскую, и когда уже «пойдет принос» (это значит, шерсть понесут заказчики), тут приезжала к нему

моя мать, и приступали они к работе.

Два или даже три сезона подряд (спрос на валенки большой!) работали в селе Мелковичи, недалеко от железнодорожной станции Уторгош. В первый-то мелковичский сезон мать была беременна мною и работала, кстати сказать, до последнего дня, когда уж схватки родовые начались...

Именно это село записано у меня в паспорте, как место моего рождения, но я к нему не испытываю ничего, кроме простого любопытства: там я только родился и прожил, небось недели две, потому ныне на вопрос, откуда родом, я называю не Мелковичи и даже не Новгород, а отвечаю: тверской, из Калязинского района, там-де я вырос, там моя и родина.

Теперь уместно будет отметить, что я родился в ночь на Рождество, то есть в ту самую зимнюю ночь, когда чистая и нечистая силы вершат всяческие дела, каждая в меру своих способностей и согласно своему предназначению.

Мой первый торжествующий крик приняли за плач и поспешили с утешениями. Но ничто не могло унять меня, я ликовал уже по земному, как человек, и это был мой великий праздник.

Отметим его стихами, он того заслуживает:

Я родился в ночь под Рождество,
Уж поверьте, с непростою целью,
Если колдовство и волшебство
Над моей витали колыбелью.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

- 1 -

В Мелковичах отец арендовал чью-то баньку, приспособив ее под валяльную мастерскую, а жили у кого-то в избе, в комнатке с одним окошком. Там же, кстати сказать, помещались и шерстобойная машина, и стол, на котором мать сновала, и керосинка, на которой готовили еду и грели воду в тазу, чтоб купать меня с братцем (его первого, а меня потом), и посуда; тут же были разложены кудели шерсти, деревянные колодки, тут же и постели, на которых спали.

- Вставали рано, часа в четыре, во всякий день, кроме выходного. Да и в выходной разве отдыхали? Вася, бывало, посидит-посидит да и скажет: Нюш, а пойду-ка я, сваляю парочку. И пойдет, и сваляет... Ить хотелось побольше заработать! Нужда-то какая: и то надо купить, и это. Не успеешь оглянуться – уж сезон кончается. Много ли заработал?

Патент купишь – пиши декларацию: сколько пар свалял, сколько брал за работу. В любой день тебя могут проверить: не скрываешь ли доход от государства. Налог дадут, покажется мало – еще прибавят.

- Вася у меня, бывало, придет расстроенный из этой конторы, вот где патент выправлял: год от году

налогу набавляли. Сидит, пригорюнившись. Я ему: ладно, Вась, ничего, как-нибудь.

Итак, рабочий день начинался у них в четыре часа утра – это зимой, значит, еще в глубокой ночной темноте. Вставали, сверяя время по крику петухов, зажигали керосиновую лампу, и сразу же принимались за дело: в хозяйской печи с вечера сушились валенки из тех, что только что изготовлены; отец доставал их и чистил куском пемзы, соскребая ворс; а мать кормила грудью младенца – это, значит, меня – растапливала печь, готовила еду на день, помогала отцу чистить валенки или садилась щипать шерсть.

Я помню этот полумрак, дивные морозные узоры на окне, характерный запах шерсти, тепло и благодатность материнской груди, мягкие и уверенные шаги отца...

Таков был мир, в который я вступил. Осознав его, я удовлетворенно вздыхал и засыпал.

Отец затемно уходил в баньку, а там прежде всего насаживал на колодки свалянные накануне три-четыре пары – кто не видел, как это делается, вряд ли может представить себе, насколько непроста и нелегка задача, посильная только здоровому мужику. Колодка разборная, и работа совершается в несколько приемов: сначала округлую, этакую пузатую, фигурной формы деревяшку величиной с кулак надо засунуть, загнать в головку валенка. А в нее и три пальца едва просунешь, не то, что эту штуку. Поэтому дере-

вяшку загоняют, ударяя пяткой сапога о чурбан. «Ударяют» – сказано слабо: изо всей силы надо хрястнуть – и раз! и два! При этом гляди, не пробей пятку насквозь, тогда пропал валенок, пропали труды. И вот с тяжким «хаком» – хрясь! И еще раз! И снова! Ага, кажется, поддается. Не жалей сил, вальщик! А ну, еще разок! После сушки намучаешься, выбивая ту деревяшку из валенка, поэтому иногда в носок совали немного соломки – помогало вынимать колодку.

Потом в голенище вставляются передник с задником, и между ними забивается середник – это уже полегче. Теперь, чтоб у колена голенище было пошире, чем у шиколотки, нужно вбить клин возле середника. Гляди, чтоб не лопнуло голенище: не зашьешь потом и заплаты не подложишь – тут скажется и качество шерсти, и умение сновальщицы, и мастерство вальщика.

Ну вот, один валенок насадили... Я могу представить себе, как отец удовлетворенно оглаживает его, будто новорожденного ягненка, ощупывает – не повредился ли при рождении. Теперь можно браться за следующий.

Насаженные валенки отец приносил и ставил в печь сушить. Надо было именно ставить, а не класть плашмя, - голенищем вниз, головкой вверх – к задней стене печи, там жар поровнее и углей нет – они в жаратке. На ухвате один за другим в темноте надо поочередно прислонить валенки, не роняя на угли.

- Это была Васина работа, я не умела. Да и он-то,

случалось, намучается: валенки мокрые, тяжеленные, соскальзывают с ухвата! Иной будто заговоренный – падает, да и все тут, не хочет стоять. Бьется-бьется Вася с ним, ну и ругнется: ох, ёшь твою двадцать! Вот только так, а иначе никак. Чего не было, того не было, не скажешь зря: не матерился.

Покончив с этим делом, они завтракали (картошка в мундире с соленым огурцом), и отец уходил валять.

- 2 -

В баньке был сооружен коток, под ним печка, в печку вмазан котел. Коток чуть наклонен, чтоб вода с него при валке стекала в котел; она всегда должна быть горячей, потому и печка постоянно топится; жарко в бане, парко, вся одежда на отце становилась мокра, а дверь откроешь – холод в спину...

Днем приходили заказчики, тут отец накоротко прекращал валку.

- Я принос никогда не принимала, это уж он сам: надо было вешать шерсть, договариваться, что и сколько валять, ну и насчет платы... Вася-то обходительный был, его все любили. Бывало придут насчет валенок, а тут же и разговор: посоветуй, Василей Федорыч, как быть. Работал он с четырех часов утра до десяти вечера...

С четырех до десяти! Погодите-ка, это сколько?

Восемнадцать часов. Ну, час на обед да час на ужин, еще пару часов на разговоры с приходившими посоветоваться. Остальные четырнадцать часов в сутки он проводил в стирухе-мастерской. Как он выдерживал?

- Вася петь любил за работой, - вспоминает мать. – Бывало, валяет и поет, и поет...

Боже мой, за такой работой – и петь! Это не постижимо. У меня не укладывается в голове.

Хотя, если подумать... все-таки не подневольный труд, как в колхозе – может быть, в этом разгадка трудового азарта моего отца? Стремление к свободному труду неистребимо, поэтому он и мытарился в баньке села Мелковичи бывшего Уторгошского, а ныне Солецкого района. Ему хотелось выбиться из нужды и нищеты, и что ни говори, а он был в определенном смысле свободным работником благодаря своему ремеслу. Для меня очевидно: человеку нужна свобода, тогда он горы своротит.

- А что, мам, грубые руки были у отца?

Я отличу руки вальщика от других: потрескавшиеся, черные от въевшейся краски.

- Да уж руки-те... Ладони – как подошвы.

«Ладони – как подошвы» – я, небось, знал их ласку. Знал, да вот не помню... Поэтому и пишу, что, мол, судя по фотографии, у него были красивые, интеллигентные руки.

- Он уйдет утром-то, а у меня сколько дел! Дети – сначала один Витя был, потом ты родился. Накор-

мить надо, переодеть, перепеленать, купать... Пеленки тут же стираю да сушу, еду готовлю...

И каждый день ей надо было основать пять-шесть пар валенок.

- А еще шерсть взбить! Ты машину-то шерстобойную знаешь: одной рукой вот так за крюк верчу, другой вот этак клочки шерсти кидаю на полотно...

Чтоб зрительно представить ту шерстобойную машину, вообразите себе большой барабан метрового диаметра, одетый в игольчатую шкуру, закрепленный в деревянной станине и имеющий крюк для того, чтоб крутить его вручную; к барабану прилегают малые барабанчики-валки в такой же игольчатой шкуре; они вращаются от него через ременную передачу. Расщипывание (битье) шерсти происходит за счет разной скорости вращения большого барабана и малых валков, именуемых ленивцами и бегунками, к тому же они крутятся в разные стороны. Еще один барабан подхватывает клочки шерсти с движущегося горизонтального полотна, на который те клочки надо непрерывно подкладывать, разбрасывая равномерно во всю ширину... Итак, с одной стороны это полотно, с другой гребеночка очесывает вальян – валок-ленивец средней величины – уже избитая шерсть ровным слоем укладывается на полу в большую кудель...

Одному на шерстобойной машине работать и тяжело, и несподручно; тут надо вдвоем, а еще лучше втроем.

- Я уж Витю, бывало, посажу возле: кидай, сыночек, шерстку, кидай. Он – такой умничек! – сидит и кидает. А было-то ему всего три или четыре годика. Тут же и ты в уголку играешь. Отец подхваливал: помощники у меня растут! Мужички!

Я силюсь взглянуть в ту тесную комнатку деревенской избы: керосиновая лампа, пыль от работающей шерстобойки, в окно видны сугробы снега, лед намерз в притворе двери, густой запах овечьей шерсти, на керосинке греется в тазу вода для стирки, мать крутит машину, мальчик трех или чатырех лет прилежно кидает клочки шерсти на движущееся полотно, и младенец лежит в кроватке... или в зыбке? У младенца очень удовлетворенное выражение лица, как у человека, крупно выигравшего в лотерею.

- Ты-то был толстенький, ручки и ножки с перевязочками. Теть Дарья бывало говорила: «Ну, Нюша, этот парнишко у тебя не жилец. Ты погляди-ка, его земля не носит. Помрет он, вот помяни мое слово».

Ну, уж это фиг. Заврались вы маленько, уважаемая тетя Дарья: до пятидесяти вот дожил, бог даст – еще поживу. Даром, что ли, я родился именно в ночь под Рождество!

- Блины приоровилась печь на керосинке, а ты сядешь рядом и вот так ручонками: дай-дай-дай... Пока Витя один блинок съест, ты с двумя справишься.

- Каков едок – таков и работник, - вставляю я в материн рассказ.

- Да худа не скажу: у меня ребятишки хорошие были. Некапризные и небаловные. Отец, бывало, не нахвалится... Вас-то похваливал, а меня, глядишь, отругает: что ты с шерстобойкой-то одна! Говорил же, подожди меня! А я: ладно, Вась... Старалась избить шерсть до его прихода. Ить придет уставший, так хоть пораньше спать ляжем...

- 3 -

Мать рассказывает, будто не веря себе самой: неужели была настолько проворной, что успевала все сделать? Неужели на все хватало сил?

- Крутишься, бывало, как белка в колесе, день-деньской: то на колодец за водой, то за дровами во двор, то в подпол за картошкой ли, за огурцами ли... А еще надо сушить да гладить белье, ходить к соседям за молоком, мыть пол... много еще всего, что и не перечислишь.

Однажды свалила ее жестокая ангина; увезли в больницу – врачи сомневались, выживет ли. Отец остался с нами, двумя детьми, и был в полном отчаянии. По свидетельству хозяйки дома, он даже плакал: «Как же я теперь без нее!..»

Тут мое младенческое благополучие сильно колебалось. Не знаю, как мой старший братец, но я сильно страдал от внезапного сиротства. Но все обошлось: через две недели мать выздоровела.

Новая беда подоспела – местный председатель сельсовета разгневался: приказал мастеру валенки, рассчитывая, что тот за работу с него денег не возьмет (для должностного лица!), но обманулся в своих ожиданиях: отец мой валенки ему свалял хорошие, но плату взял, как со всех. И вот председатель выбрал момент, когда отца не было дома – уехал в Уторгош по каким-то делам – явился к нам с понятиями делать обыск. А что он хотел найти? На чем подловить? Вот шерсть на несколько пар, вот колодки деревянные, вот валенки ждут своих заказчиков, вот двое детишек... Но председатель составил бумагу с грозным названием «акт». А «время-то было строгое!» Так что «акт» хоть на кого страх нагонит.

- Мне говорит: подпиши. Я отказываюсь: неграмотная, мол. А они меня строжат. Как строжили! В тюрьму, мол, посадим! Перепугалась я... Ну и подписала. Вася-то вернулся, я ему рассказываю, а сама плачу. А он: чего ты так расстраиваешься, Нюша! Не бойся. Ну, подписала и подписала... Ходил потом улаживать.

Но ссориться с начальством всегда накладно, больше в Мелковичи уж не приезжали.

- Помню, работали-работали, собрались домой. А я все деньжонки-то прятала в постельник, на котором спали. Он соломой набит, у меня с уголка шовочек распорот, вот туда и суну их, в платке завернутые. А уезжать собрались, заторопились, я вынесла по-

стельник во двор, где корова стояла, ну и вытрясла из него солому. Отъехали от деревни, Вася спрашивает: Нюш, а где деньги-то? Я: ба-атюшки! Да бегом назад, сама не своя. И что ж ты думаешь – они так и лежат на навозе в соломе! Все заработанное за сезон... Ну-ка, уехали бы, а хозяйка раскидала б солому-то вилами. Кто ж знает, может и польстилась бы – спрашивай потом с нее! Сказала бы: не видала, мол, да и все тут! Ну и прощай, денежки, - что работали, что нет. Однако уберег Господь. Уж как я рада-то была! А Вася только головой покачал; ах, говорит, Нюша, как же это ты!

Я несколько раз выслушивал этот рассказ, который заканчивался непременно ее восхищением:

- Ить вот какой был мужик! Другой бы отматерил, а то и чего похуже. Мой Василей Федорыч слова грубого не сказал. Да и не слыхивала от него никогда.

Думаю, что в дымке времени, отделяющей нынешний день от прошлого, исчезли ненужные детали: не все ж лучезарно было в их супружеской жизни! Небось, и ссорились, и упрекали друг друга – мало ли чего! Но матери моей ныне ее муж, то есть мой отец, - святой человек, хоть на икону его.

- Работал-то днем и ночью, как заведенный! Шерсть несут и несут, и каждый просит свалять поскорее... А никому не откажет! Спал мало, отдохнуть не приляжет. За сезон исхудает так, что страшно смотреть. Я уж его ругала: нельзя, мол, так. А он: ладно, Нюш, вот еще маленько... детишки подрастут, в шко-

лу пойдут, и не станем в люди ездить; тогда, наверно, и валять бросим.

Нынче это называется индивидуальной трудовой деятельностью. Вокруг нее в нашем обществе немало уже отшумело баталий; ученые мужи и власть имущие доселе решают: позволить или не позволить ее, эту деятельность. С одной стороны она, вроде бы, полезна, поскольку человек работает сам и обогащается от собственных трудов, а благоденствие целого общества не состоит ли из частных человеческих благоденствий! Но с другой стороны, при социализме предписано трудиться только сообща, коллективно, и там не должно быть отдельного блага для одного человека – только одно на всех общее благо! А раз так, мои родители выглядели явно инакомыслящими, то есть чуждым элементом в обществе коллективной справедливости, следовательно, враждебной силой по отношению к господствующей идеологии.

Власть имущие упорно преследовали тех, кто хотел работать сам на себя, единолично проявляя творческую самостоятельность. И вот однажды отец поехал в Новгород и вернулся расстроенный, даже испуганный:

- Все бросаем, Нюша! Не будем больше валять: с первого января налог дадут такой, что и не отработать.

Кое-как в спешке доваляли *принос*, многим отказали да и поскорее, поскорее вернулись в Новгород.

Буквально в последний день уходящего года успел отец сдать злополучный патент.

- С тех пор мы уж в *люди* не ездили...

- 4 -

Однако же кое-какой капиталец мои родители успели сколотить, и после нескольких лет скитаний по частным квартирам они купили в Новгороде дом.

- Вот напротив Десятинного монастыря, как перейдешь улицу-то, чуть-чуть правее и стоял он – низ каменный, верх деревянный. Небось, еще яблони-то наши сохранились. Или нет? Теперь уж, конечно, вряд ли. А хорошие были яблони.

Рассказывая о доме своем, мать всегда добавляла «низ каменный, верх деревянный» – это бесконечно тешит ее сердце: она была владелицей двухэтажного дома, да еще и каменного.

- Сторговали мы его уж не помню за сколько. Больно он мне понравился: аккуратненький такой да веселый. Окошечки-то, как глазки, ясные – у меня прям сердце зашло, когда в первый раз пришла смотреть на него. Ну, говорю Васе, не упустить бы... Ночь не спала! Веришь ли, ни есть, ни пить не могла, на уме только одно – как бы поскорее купчую сделать. А купчую-то совершили – тут у меня прям гора с плеч...

В этом месте рассказа она, если сидит, распрям-

ляется и облегченно вздыхает; даже осанка такая горделивая появляется во всей ее фигуре. Да и мне как-то легче становится, радостнее – шутка ли: дом купили мои родители! Это значит, впервые в истории двух родов – Красавиных и Ворониных – его представители стали городскими домовладельцами! Куда теперь повернет судьба? Уж верно, в лучшую сторону.

- Нижний этаж жильцы занимали да и наверху жиличка – нам это не больно нравилось, а только что не выселишь, такого закона не было; дома продавались вместе с жильцами. Тогда ить во всем городе ничего не строилось, вот и селились, кто как сумеет. Мы, хозяйева, наверху одну комнату заняли да и тому рады. Как вспомню... этак войдешь, сначала будет кухня, слева дверь в комнату жилички – мы с нею хорошо жили, дружно – а справа дверь в нашу...

Уместно будет прервать тут повествование и посидеть в задумчивости, смакуя приятную минуту.

- Все у нас было! И мебель купили, и из одежи-обужи что нужно, и швейную машинку ножную – такая была красавица-машинка!

Она с удовольствием вспоминала разные бытовые мелочи: где что стояло, какие деревья росли возле дома... как полоскала белье на Волхове – «Вот на том месте, где теперь памятник-то стоит, лошадь-то, - тут мосточки были сделаны, с них и полоскали»; как за водой ходила – «Колонка была на той улице, где Субботины жили, а за воду-то платили по пятаку за

ведро или за пару ведер пятак, вот уж не помню... Женщина пожилая сидела возле колонки, она брала плату».

То ли два года, то ли три прожили мои родители-домовладельцы в собственном доме на улице Десятинной. И жизнь наладилась; казалось, так и будет она идти: словно с ухабистой дороги выехали на ровную, накатанную.

- Вот, помню, вам обоим матросочки удалось достать – костюмчики такие, значит; рубашка с большим отложным воротником, галстучек и штаники короткие на лямках. Тогда в моде было. Да вон вы в них на карточке...

Две счастливые фотографии тех лет: на одной мы с братом – оба в «матросочках» – сидим на высоком столике, отец и мать по сторонам на стульях, за спиной у меня крестна – сестра отца Маруся. Братец мой, сразу видно – умничек: ручки положены на коленочки, головка чуть наклонена набок, смотрит смиренно – это от врожденного желания слыть послушным мальчиком. Ну, а я головастький, кривоногий, рот открыт... разиня, чего говорить! Зато лобик пошире, бровки сдвинуты, отчего взгляд пытлив и требователен, а сам весь толстенький, будто комочек, будто мячик. Кто сказал «земля его манит»? Мало ли кто манит, да я не поддаюся!

На второй фотокарточке все то же, только без крестны; и мы не в матросочках, а в белых рубашках

с большими бантиками вместо галстуков. Да еще родители поменялись местами: теперь уже меня, полоротого, любовно обнимает отец, этак пригребая к себе властной рукой, а Витю-умничка – мать. Братец сидит опять, как примерный мальчик, положив ручки на колени и смиренно склонив голову, а я и тут разиня рот, но бровки снова чуть принахмурены от явного напряжения мысли, и глаза смотрят очень осмысленно.

Нет, как хотите, а на обеих фотографиях я ничего, неплох и, признаться, нравлюсь самому себе. Ведь, сразу видно: серьезный человек растет, способный выучиться любому ремеслу – хоть валенки валять, хоть книги писать.

- 5 -

От той поры обо мне осталось несколько преданий в нашей семье. Первое: как меня заклевал петух. Куриц держали жильцы, и петух у них был очень дерзкий, меня же он невзлюбил особенно. Я думаю, дело не в ненависти его ко мне, а просто единственное человеческое существо, которое он мог одолеть и тем заслужить восхищение своих подруг, - это был я, самый маленький. Если я гулял с кем-то – петух не нападал, но вот однажды он подстерег меня одного, налетел, поверг на землю и с торжеством несколько раз клюнул, норовя попасть в глаз.

- Ты так кровью и залился! – рассказывает мать. –

Хорошо Вася вовремя подскочил, а то остался бы без глаза или без обоих.

Петух за свое злодейство заплатил жизнью – отец мой тут же изловил его и отрубил напрочь голову. А у меня доньше возле правого глаза отметина, как старый шрам на теле участника боевого сражения.

Второе происшествие – со мной приключился родимчик. По-видимому, это та падучая болезнь, которая иных преследует всю жизнь, а меня наказала лишь однажды, в младенчестве, когда я только-только научился ходить.

- Играл-играл, да вдруг упал, зашелся, глаза закатились... Да нигде подвернулась Варвара Николавна, жиличка Субботиных: «Ты, говорит, Нюша, положи его на кровать, да и оставь так, только накидочкой лицо прикрой». Уложила я тебя на кровать, ты и уснул. Да так глубоко, так долго спал! Я подойду, послушаю – жив ли? Дышит... Выспался, встал – здоровехонек! Словно и не было ничего.

Думаю, тут явная связь с тем фактом, что я родился в ночь под Рождество. Она прослеживается и далее, эта связь, - от родимчика, едва не лишившего меня жизни – прекрасной, между прочим, жизни, если иметь в виду окружающий нас мир! – к тому, что я в отрочестве и юности забавно лунатил по ночам и был мечтательным, любил фантазировать, выдумывать... Эту цепочку можно продолжать, но вряд ли нужно. Должно быть, чистая и нечистая силы до сих

пор ведут борьбу за мою душу, и хоть демоны зла одолевают иногда, ангел-хранитель все-таки сильнее, он оберегает меня.

Мать мою не очень-то занимали некоторые странности младшего сына, она их не замечала, как не замечают и посторонние тоже. А раз так, то и нечего мне выдвигать особенности своей персоны на передний план.

- Пойдем, бывало, в сквер гулять, - радостно вспоминала она, - а вы оба и бежите впереди, одному три годика, другому шесть. Люди-то оглядываются: больно хороши робятки – нарядные оба, в башмачках, в беленьких носочках. Ну, и мы с Васей идем за вами. Он тогда себе новый костюм справил, и мне. Помню, матерьялу купил – четыре часа в очереди за ним отстоял; принес и говорит: вот, Нюша, тебе отрез на платье... Гуляем в парке, он и скажет: «Нюш, сколь у нас робятки-то хороши!» А я ему: «Это потому, что свои. Каждому свое дорого» – «Нет, Нюша, наши лучше всех!»...

И еще одно маленькое предание – раз оно сохранилось в памяти матери, значит, имеет какое-то значение: она любила рассказывать, что бывало за столом семья ест картошку со сковородки, и одну самую крупную картошину все отчекивают; а «младшенький» втыкает в нее вилку и в рот... чем и смешил, и восхищал отца.

- Ах, ты мой родимой! Вот молодец! – говорил

отец поощрительно и гладил по головке.

- Ты-то солощій был на еду, а Витя, – щাপливый.

Тут главное вот что: я ел от жадности к жизни, а не к еде. Я ел, чтобы жить, а не жил, чтобы есть.

- 6 -

Итак, город Новгород, весна сорок первого года...

Вот с этого времени и начинается повествование моей матери, которое уместилось в школьной тетрадке: весь счастливый период своей жизни она уместила в одном абзаце:

«довойны мы жили вновгороде и унас было двоедетей жили наквартире нонаквартире жить здетям очень трудно с мужем мы жили дружно он у меня был харошей вином незашибался работали много но жили скупо каждую копейку берегли как только хотелос купить домик но вот купили дом напротеф десятинова мыстыря и жили очень харашо и такая радас была у нас что мы нажили дом муж работал валяльной мастерской а я здетьми ходила на поденку на огорот полоть маркоф агурцы патамушто детей всадик неустроишь вто время их было мало...»

И вот тут я останавливаюсь: дальше – война.

Я подошел к тому месту в материном повествовании, перед которым совершенно бессилен. Как путник, шедший без дороги по заснеженной целине,

угадывавший направление по расставленным вешкам и достигший берега реки, которую надо пересечь по тонкому неверному льду или при ледоходе.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ, ВОЕННАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

-1-

«и вот подстигла беда, - повествовала далее мать, - мужа взяли вармию на сорок пять дней проводила я его 10 июня а 22 июня началас война вот я и простилас навсю жись сосвоим любим мужем а у меня пошли мучения новгород стали бонбить...»

Изложение событий стремительно, кратко, в них нарастающее напряжение и драматизм.

Отца взяли «на переподготовку», то есть, вроде бы, дело обычное: он уходил, как сугубо мирный человек, которого оторвали от дела на короткое время. На прощанье сказал жене:

- Я хоть там отдохну...

Разумеется, у него были мысли о войне, но – отстраненно, как о чем-то возможном, однако же и невозможном тоже. Нелепица ведь явная эта война! Я уверен, что он не брал ее в расчет.

Перед уходом отец за что-то в воспитательных целях постегал меня прутом; как свидетельствует

мать, я долго потом помнил эту обиду и на вопрос, скучаю ли об отце, отвечал решительно: нет, папа плохой, потому что... Ах, маленький негодник! Не искушай судьбу и не гневи Бога – не навлечешь беды.

Старший-то, умничек, был куда как смиренен да послушен, не знаю даже, отведал ли он отцовского прута хоть один раз. Вряд ли! За что же его было наказывать, если он не шалил, не озорничал, не хулиганил. Он – именно умничек, пример для младшего брата и укор ему.

Что касается матери, она проводила своего мужа, тоже наивно веря, что разлука не будет долгой; полтора месяца – срок невелик. В последний раз виделись они во дворе новгородского военкомата; отец был в обмундировании стареньком, будто на потеху напряженном, - рукава гимнастерки едва закрывали локти, брюки чуть ниже колен – привыкший одеваться опрятно и подбористо, он конфузился перед нею из-за своего наряда.

- А ушел-то в хорошем костюме! – вздыхает мать. – Так и пропал тот костюм.

Вот написал я «в последний раз они виделись во дворе новгородского военкомата», будучи уверен, что так оно и было, потому что ранее на мой вопрос об их последнем свидании мать отвечала, что приходила-де в военкомат. И только недавно проговорилась, что однажды отец пришел к ней ночью, а на рассвете ушел. Должно быть, ухитрился как-то удрать из казармы в

самоволку – та их ночь была для матери столь тайной, что вот даже мне, сыну, она не считала нужным признаться – это ее личное.

Но мне приятно было узнать, что отец приходил домой в самый канун войны, и уж, конечно, уходя, поцеловал меня, спящего. Тут я еще раз укорю маленького негодника: лучше б тебе проснуться в ту ночную минуту, когда отец наклонился над твоей кроватью, и обнять его, и сказать, как ты его любишь, не помня никаких обид. Но, увы...

- 2 -

Война пришла в Новгород мирным и солнечным воскресным утром.

- Я с рынка, помню, шла; со старого рынка, который на Торговой стороне. А утречко-то какое было! Душа радовалась. По Ярославову Дворищу да по Великому мосту, да через кремль... Городок, ведь, небольшой тогда был – только то, что внутри вала, а за валом уже огороды. И вот идешь – тут тебе Софийский собор, с той стороны Антониев монастырь, а за Воскресенской слободкой опять купола – Юрьев монастырь. Да в какую сторону ни глянь, все сердцу мило. Уж я так любила Новгород! Его как раз перед войной покрасили...

- Как это? Весь город?

Оказывается, велено было всем хозяевам домов

покрасить фасады новой краской – желтой, голубой, зеленой.

- Может быть, только наличники?

- Нет, фасады и заборы, и крылечки... А у Васи, помню, не хватило голубой краски, и он добавил синьки. И вот столбы у ворот темноваты получились, мне не понравилось. А Вася так сказал: погоди, мол, куплю краски...

Вишь, какие порядки были в Новгороде! Заботились о внешнем убранстве города, не то, что нынче.

- На Торговой-то стороне магазин был – живой рыбой торговали: и судаки, и щуки, и лещи – так в ванне большой и плавали. Что-то теперь торгуют ли?.. А бывало сама выберешь живую рыбину, укажешь, тебе ее вычерпнут, свешают...

Что травить душу воспоминаниями о живорыбном магазине! Война уже началась, наступил первый день ее.

- И вот иду я с рынка, гляжу: уличком народ собрал – сквер прибирают возле Десятинного монастыря. Она, уличком-то, кричит мне: «Красавина, Красавина, почему не выходите на благоустройство?» Тогда, строго было, не откажешься; каждый домохозяин обязан и улицу обиходить. Я тороплюсь: «Сейчас, сейчас!». Ну, вас маленько покормила, вышла - тут и узнали мы, что война...

Нет, она не сразу осознала, что это такое – война. Где-то за тридевять земель на окраине государ-

ства случилось что-то, будто огонь вспыхнул по краю хлебного поля – ну так потушат скоро, если это опасно! Правда, тревогой опажнуло, словно холодным ветерком, но не более того. Еще настоящего страха не было: дом – вот он, дети при ней, здоровы и веселы, а муж рядом – в Крестцах служит.

Люди живут совершенно вслепую, не угадать им судьбы своей и на день вперед. А кабы угадывали...

Надо было матери с нами, детишками, сразу уезжать из Новгорода, не медлить ни одного дня. Бросать все, что нажито, садиться в поезд до Бологое, там пересадка – и до Сонкова, где еще одна пересадка – и уж до Калязина. Тут в безопасности. Сумей она предугадать, чем лично ей и ее детям грозит начавшаяся война, уехала бы, конечно, тотчас, но как можно было это предвидеть! Все ясно только сегодня... А тогда кому же пришло бы в голову, что война докатится до Новгорода? Не весть о ней, а сама она, как огненная буря, как сокрушающий вал. Такое просто никому не приходило в голову, а моей матери тем более.

- 3 -

Две-три июльские недели были наполнены нарастающей тревогой, потом страхом и, наконец, паникой; и вот уже нелепая прежде мысль о том, что надо бросать дом, перестала казаться нелепой; напротив, она-то и была разумной... Но, увы, как раз теперь от-

езд стал невозможен. Тем, кто ринулся к властям за помощью, должностные чиновники говорили, укоряя:

- Неужели вы думаете, что мы Новгород сдадим? Вы что! Такого никогда не будет!

И в этом укоре слышалась угроза: кто это из вас сеет панику?

- Выйдите пока в деревню, - советовали городские власти, - на случай бомбежек, потом вернетесь.

Вот уже и возможность бомбежек стала реальностью...

Фронт между тем стремительно приближался. Железнодорожный вокзал был забит беженцами из Пскова; они поселились табором под открытым небом. Налетевшие впервые немецкие самолеты стали бомбить именно вокзал – больше всего убитых было как раз среди беженцев.

Эти бомбежки стали ежедневными. Мы, дети, очень скоро научились отличать свои самолеты от немецких и по гулу моторов, и по внешнему виду: вон те, что с закругляющимися крыльями, а вон те, что с обрубленными. Вот летят они косою цепочкой, бочком и передний сваливается на правое крыло, с нарастающим ревом переходя в пикирование, за ним другой... У каждого под брюхом от десяти до восемнадцати бомб, и за один заход они сбрасывают по три-четыре, потом заходят снова.

Вряд ли я умел разглядеть эти бомбы под брюхом самолета, а тем более сосчитать их. Наверно, знал это

из разговоров взрослых.

Мать помнит другое: во время налета насчитывали они над Новгородом до ста немецких самолетов, потом сбивались со счета. Да и не до того было, чтоб считать!..

«хлеба достать было очень трудно тоидело воздушные тревоги приказали песок носить начердак окна заклеивать убежище копать мы стали проситься кудабы нас отправили дети стали пугатца... милиция нас загоняла в подвал а тут дело дошло даже сварить не успеешь бесконца тревоги...»

Ах, надо было матери забрать нас, детей, да и уходить по московской дороге, благо мост через Волхов был еще цел. Отец в письмах так и советовал: бросайте все...

Ныне-то из нашего мирного времени я так рассуждаю: одолей мы десяток километров хотя бы пешком в сторону Крестцев, Валдая, уже оказались бы на территории, которая никогда не была захвачена немцами. И в этом случае судьба была бы к нам милостивей. Но, видно, надежда на то, что враг все-таки не возьмет Новгорода, была сильна. Надежда эта утешала, удерживала и в конечном итоге погубила многих.

«был дядя мово мужа унего было два сына две снохи и дочь и уних были дети он нас отправил в деревню Малы Морины на берегу озера, а дядя сжиной остались оне спасались в церкви».

Тут речь о наших родственниках Субботиных,

у которых мы ранее жили на квартире, а теперь лепились к ним в страхе и смятении. Почему Дмитрий да Алексей Субботины, сыновья дяди Семена и тети Вари, остались при своих женах и детях, а не были призваны в армию, вот этого я не знаю. Должно быть, белобилетники оба.

Кое-какое добришко мать закопала у них в огороде, поскольку родственники эти жили на соседней улице, и у них прятать было все-таки надежнее, чем возле своего дома, когда его покидаешь. Кое-что прихватила мать с собой в Малые Морины – одежку, еду на несколько дней, а все прочее оставила. В той деревне мы и поселились на некоторое время.

Из Малых Морин беженцы ходили в Новгород за хлебом, но достать что-либо не всегда удавалось. Походы эти были сопряжены с большой опасностью: город и дороги к нему немцы бомбили, и тому, кто отваживался идти туда, приходилось поминутно оглядываться на небо и прислушиваться, не летит ли самолет, чтобы успеть кинуться в канаву, в яму, проклиная тот час, когда решил отправиться в путь.

«пришла я в последний раз к дому стекла все выбиты рамы изломаны и небель вся кавыркком бросили бомбу вдесятиныый монастырь и горот весь горит плакала плакала взяла детскую одежку да буханку хлеба достала и пошла в деревню а дети встречают меня отломла хлеба и дала им и больше я не видела своего дома...»

Тут надо пояснить, что заплакала она в своем доме в голос – это был не плач, а рыдание, самое отчаянное, когда уж сам себя человек не помнит. К ней поднялась с нижнего этажа старуха-жиличка, стала утешать: что же, мол, поделаешь! И кое-как утешенная ушла владелица дома – низ каменный, верх деревянный – чтоб больше никогда его не увидеть.

- И надо же: валенки не захватила с собой! Такие валеночки у меня хорошие были – белые, новые. Оставила, дура, на шкафу их. Небось, сгорели... Или взял их кто?.. Уж так я жалела их потом! Ить, зима началась...

И сейчас жалеет. Впрочем, разве только их!

Дело не в материальной ценности тех или иных вещей, среди которых живет человек и ради которых тратит свои силы. С вещами у него душевная взаимосвязь, как с живыми существами.

Погодите, вот ученые вычислят и измерят энергетическое поле дорогих человеку вещей; боль от их утраты – она отнюдь не по причине жадности, тут категория иная, она от меры богатства души или, наоборот, ее нищеты. Сила душевных связей с живым и неживым миром есть производное как раз свойств души человека.

- Фотокарточки на полу валялись... Надо же, Вася ушел и не взял ни одной! Небось, как покался потом! Ведь совсем один остался...

Как хорошо, что некоторые фотографии мать сбе-

регла! Я как раз и богат ими, хотя их всего несколько. А не имел бы – насколько был бы беднее!

Не все ушли из города, кое-кто оставался. Ну, это прежде всего старики, вроде нашей старухи-жилички, пришедшей утешить мать.

- Теть Варя с дядь Семеном выкопали убежище себе и тоже не уходили из Новгорода: будь, что будет. Да ведь дом жалко, как его бросишь! Они над своей землянкой сделали накат из бревен, там и спасались при бомбежках. А только что когда дом ихний, Субботиных-то, загорелся, дым потянуло в убежище, сидеть там стало невозможно. Да и пожар не потушишь при бомбежке! Они в церковь перешли, неподалеку...

Кстати сказать, это была та самая церковь, в которой меня крестили, когда привезли из Мелковичей; она и сейчас стоит. Может быть, именно здесь, повинувшись высшей воле, и поместилась душа моя в тельце младенца, рожденного в Мелковичах?.. Нет-нет! Я родился в ночь под Рождество, сразу в единстве духа и тела, и это соединение произошло там, при моем появлении на свет.

- Она небольшая, та церковь, но ее собором звали; там много людей спасалось. Как немцы вошли в город, такая стрельба была, не приведи Бог... Егора убили прямо в ней.

- Какого Егора?

- А Груши Субботиной муж. Он был взят в ар-

мию, да, зная, в окружение попал, ну и пришел потихоньку домой, отсиживался вместе с семьей. А немец-то выстрелил через дверь, ему прямо вот сюда, в рот, пуля вошла. Так и похоронили тут же, возле стены.

Как представить себе эту картину воочию? Город в дыму пожаров, грохот разрывов, ружейная стрельба, автоматные и пулеметные очереди, спасающиеся в храме жители, и ты среди них... жизнь твоя может прерваться от случайной пули, от того, что от разрыва снаряда или бомбы обрушится перекрытие потолка или стена; и это может случиться каждую минуту – ни толстые стены собора, ни горячие молитвы не защитят, не спасут.

Я не могу войти в тот день... То есть мое представление о происходившем тогда поверхностно и отстраненно. Оно лишено горячего ужаса, который обжигал.

- 4 -

Отец служил где-то при полевом аэродроме возле Крестцев. Последнее письмо от него пришло чуть ли не накануне того дня, когда немцы вошли в Новгород, а написано было 3-го августа.

Вот оно передо мной: уже протертое и порванное на сгибах, пожелтевшее, пронесенное матерью моей за пазухой через годы оккупации, через беженские лагеря, сохраняемое вот уже полсотни лет. Я расклады-

ваю по столу четвертиночки листа, должно быть, из ученической тетради в линейку, читаю:

«Здравствуйте многоуважаемая супруга Нюша детки мои Витя и Юра. Сприветом к вам супруг Василий Федорыч. Нюша посылаю я вам свой чисто сердечный привет...»

Моему отцу в момент написания письма – тридцать лет. Пишет не шибко грамотно, однако с церемонным обращением к «многоуважаемой супруге», как того требовала крестьянская традиция.

«Нюша, спешу сообщить что я от вас получил 2-го числа два письма которых насилу дождался...»

Всякий раз, прочтя это, я радуюсь: пришли-таки письма, которых он «насилу дождался». Он уже знал, даже мог слышать и видеть: Новгород бомбят, Новгород горит – значит, в огне и улица Десятинная, где его жена, дети... Получить весточку в этих условиях дорогого стоит.

«Ждал полный месяц и я очень рат узнать где вы находитесь. Нюша вы пишете что вы живете в деревне и опять нет надёжи на спокойную жизнь. Нюша и вы пишете что собираетесь на родину но только не знаете как доехать. И что я вам посоветую Нюша сами знаете стакой обстановкой жизни. Я не знаю как вам и советовать. Голова моя разбита, и ничего не соображает... Нюша, конечно бы лучше, кабы ты была на родине но как доехать тебе не знаю, веть теперь надорогах наверно скверно ехать. Нюша

смотри как луче вам виднее. Веть я незнаю какое у вас положение в смысле военного положения...»

От Крестцев до Новгорода восемьдесят километров. И близко, да ничем не поможешь семье. Самое горячее его желание – чтоб мы как-нибудь доехали до Калязина, а уж там все свои; там-то не пропадём. Но он сам же сомневался, что нам удастся добраться до родных мест.

«Нюша, правильно выпишете: пес с ним, совсем симуществом но только бы остатца живым. И поетому Нюша спасай свою жизнь да жизнь наших детей. А об остальном и не думай не жалей. Живы останемся – босые и нагие ходить не будем. А если придеца помереть, то и вовсе ничего ненаде. Нюша если грозит опасность то веть нетебе одной, а всем. А вас там много и если все поедут и ты не от ставай. А я напишу писмо дяде Семену и попрошу их чтобы оне тебя неоставили. Расчитывай Нюша о себе да о детях наших но обо мне все отложи мне может ничего не понадобится...»

Тут он снова повторяет «жив буду – босой и раздетый не буду», и это единственно бодрая нота в его письме.

«Нюша как пишет Пименова жонка что везут вирославскую област. А эта област рядом с нашей родиной если так вас повезут в Санкове зделаиш пересатку. И поезжай к маме и будеш жить у мамы уней хлеб есть как нето проживешь хотя уж не дохоро-

шева... А пропадает имущество притаккой обстановке жалеть не приходится. Имущество это нажитое дело но жизнь потерять ее больше не наживешь. И я тебе советую если только будут выселять то бросай все и поезжай на родину. Возьми себе и ребятам все необходимое что возможно мово ничего не бери и поезжай. А дом запри наслучай вставь зимние рамы под колоти изнутри и поезжай что же поделаиш Нюша коли нам стобой выпала вжизни такая тяжолая жсизнь...»

Сознание своего бессилия, невозможность помочь жене и малым детям сокрушали его, потому и написано было дважды «голова моя разбита» – это, наверное, не в том, что ранен, мол, а это о своем душевном состоянии. А заканчивалось письмо разительной фразой, которая и ныне рвет мое сердце:

«Пишу и плачу: неужели я вас больше не увижу...»

Плачу и я в этом месте. Откуда во мне это горячее чувство к отцу, которого я даже не помню? Его великая тоска, обида на судьбу, его тревога и страдание живут в моей душе, и одинокий уходящий голос звучит во мне:

- Неужели я вас больше не увижу?..

Он погиб тогда же, в сорок первом, в самую тяжелую пору войны – двадцать шестого октября. А произошло это, согласно извещению, «в районе станции Лычково». То есть недалеко от тех Крестцев в сторо-

ну Валдая. Мне никогда не узнать, как это случилось. Где и как он похоронен? В лесу под высокой сосной или в поле? А может, просто в болоте... И похоронили ли? До того ли было? Может, оставили там, где настигла смерть, и доныне лежат его кости не преданными земле, омываемые дождями и овеваемые ветрами.

И какое странное совпадение: в тот самый день, когда он погиб, в очень далекой сибирской деревушке с названием Малая Тесь – это в Красноярском крае, в верховьях Енисея – родилась девочка, ставшая потом моей женой, наши дети – это внуки моего отца...

Но это я так, к слову.

- 5 -

... **В** середине семидесятых приехала, помню, в Новгород группа латышских писателей, пожелавших побывать на местах боев: некоторые из них воевали на Новгородчине. Мы отправились на автобусе вокруг озера Ильмень через Старую Руссу в сторону как раз железнодорожной станции Лычково. Ехали по шоссе, и где-то за Парфином пробирались грунтовой дорогой. Был жаркий день, утомительный для такого путешествия. Автобус наш остановился, не в состоянии ехать далее. Я поспешил выйти на вольный воздух, и пока пассажиры тоже выходили и оглядывались, разминаясь, рассеянно отошел чуть в сторону, шагов на пять-шесть. Дорога тут пересекала канаву, заросшую

брединой; что-то лежало под кустом, я пошевелил это ногой и выкатил... заржавленную солдатскую каску. Приехавшие писатели стали разглядывать ее, решая, отчего в ней дырка – то ли от пули, то ли просто от ржавчины; а я вытащил из куста железную трубу, разорванную на конце.

- Смотри-ка, это от миномета, - тотчас определили бывшие фронтовики.

Дальше мы пошли по проселку пешком; под ногами в пыли на каждом шагу попадались кусочки железа неопределенной формы, заржавленные, оплавленные.

- Тут фронт стоял долго, - говорили латыши, может быть – как знать! – встречавшие некогда моего отца. – Земля нашпигована железом – можно брать её, как руду, для доменной плавки.

Они останавливались, угадывая, где проходили наши окопы, а где немецкие.

- Вот здесь. Ну да... Вон та ложбинка, и косогор – все так же, только не было этих кустов... Сидели мы в окопах – головы не поднимешь! Передвигались, только согнувшись. Железный дождь шел...

Чуть далее в кустах нам попалась еще одна каска... а глубоко в яме утопал металлический колпак, величиной с башню танка. Или это была именно башня танка?

И вот на краю этой ямы я увидел человеческий череп, он лежал под кустом в траве – только череп и

никаких костей возле него. Небось, отбросили нетерпеливой ногой (эка невидаль! мало ли их и поныне валяется в этих местах!), чтоб не мешал косить луг или ходить по тропинке.

На Новгородчине поля доныне усеяны человеческими костями. Солдаты оставались лежать там, где умирали, и некому было их похоронить; так доныне...

- 6 -

Нет, не хочется думать, что и мой отец оставлен там, где упал. Он похоронен в светлом бору под высокой сосной, где и сам я хотел бы быть похороненным в свой срок. На его могиле не лежали цветы и ни одна слеза не пролита – просто шумят вековые деревья, поют зяблики да малиновки, проходят лось и кабан, прошуршит мышь или проскачет заяц.

Это утешение для меня, не имеющего отрадной возможности поклониться его праху.

Я пытаюсь постигнуть смысл теперь уже давнего явления моего отца на белом свете. Зачем он «посетил этот мир в его минуты роковые»? Не затем же только, чтоб дать жизнь мне да моему смиренному братцу, чтоб мы продолжили ветвь нашего рода. Успел ли совершить то главное, ради чего родился? Состоялось ли то, чего ждал, во что верил? А если нет, кто виноват? Война или сам он, или мы с братом?

Он вырос в деревне Ремнево – играл в чижик и

лапту, купался в Татьянинном или Митриевом пруду, собирал землянику в Яменнике и чернику в Сущевском лесу, ловил шурят в бочаге под названием Белый Бурачок и брал рыжики в низинке с названием Белоусово, проселочной дорогой ходил в Спасскую сельскую школу...

- Вася грамотный был – три с половиной класса окончил! Я-то всего ползимы...

Он умел пахать и сеять, жать и косить, метать стога и валять валенки, петь песни... он гулял на праздниках в Пряжине, Соломидине, Плуткове, Задорожье; был шафером на свадьбах своих друзей и венчался в Спасской церкви с Нюшей Ворониной из деревни Хонино... он до самозабвения любил своих маленьких детей, гордился ими... Но в тридцать лет уже завершил свой земной путь, а ведь тридцать лет – это даже не половина жизни, это меньше.

«Неужели я вас больше не увижу?..»

Иногда у меня бывает чувство, что кто-то незримо покровительствует мне. Кто-то заботливо предостерегает, подсказывает, советует. Может быть, это он?

Я утешаю себя мыслью, что в том непостижимом для нас мире тонкой материи, где обитает ныне его душа, ему непременно выпадает счастливый жребий, и он вернется. Может быть, еще застанет меня здесь, и мы встретимся. Только вот узнаем ли друг друга? Я буду уже старик, а он маленький мальчик...

ГЛАВА ВТОРАЯ

- 1 -

Матери все не верилось, что прежней жизни уже не бывать. Ей казалось: вот-вот откатится война, оставив в целостности дом; можно будет вернуться под его кров и ждать возвращения мужа, чтобы снова подниматься по восходящей лестнице к семейному благополучию, растить детей... С простодушной надеждой на это, она искала приюта в ближних деревнях – Лешино, Малые и Большие Морины, Новая Мельница, Ракома – чтоб оттуда навещаться к дому. Но как навещаться, если было видно: Новгород в огне и дыму, днем и ночью доносились оттуда тяжкие разрывы снарядов и бомб; зарево по ночам стояло чуть не в полнеба.

Тревога и страх пригнетали подгородные деревни, переполненные беженцами; будоражащие слухи подгоняли друг друга; течение жизни стало напряженным, и происшествия разного рода драматизировали ее все более и более.

Ненастной августовской ночью кто-то постучал в окно дома, в котором мы жили – это в Малых Мориных – вошли совершенно мокрые, измученные наши солдаты, пятеро. Прежде всего спросили, нет ли немцев в деревне. Нет, здесь их еще не видывали. С чего это они появятся в Мориных, в стороне от большой

дороги! Да и возможно ли, чтоб они вообще дошли досюда!

- Разве вы не знаете, что Новгород уже взят? – сказали они.

Эта весть была ошеломляющей. Моя мать и другие женщины заплакали:

- Что же нам теперь делать!

Солдаты неумело утешали:

- Не плачьте, вас они не тронут.

Хозяйка дома покормила их, и на рассвете они ушли: им хотелось на плоту (лодок не было) переплыть Ильмень, чтоб миновать Новгород, держа курс от Морин на противоположный берег, где село Взвяд. Они уже пытались это сделать, отчалив где-то возле Коростыни, но встречный ветер и волны противодействовали настолько, что вот прибило к Моринам.

- А ночь темная – глаз выколи! Дождь шел, морось такая, сыплет и сыплет. Они вымокли до нитки... Не знаю, остались ли живы.

Что б им тогда догадаться записать свои адреса! Я ныне смог бы сообщить их родственникам маленькие подробности, возможно, последние в жизни этих солдат. Не ахти что, но ведь и мелочи драгоценны. Я сам дорого заплатил бы за любое известие о моем отце, о его последних днях: где был, что сказал, что его погубило, почему не смог спастись. Но кто думал тогда о будущем! Жили текущим днем, не веря, что уцелеют до завтра.

От той поры остались в моей памяти... и не в памяти даже, а кажется, в каждой клеточке тела (я кожей помню это!) и тяжкое уханье бомбовых разрывов, от которых вздрагивала земля и я вместе с нею; и напряженное, угрожающее гуденье самолетов где-то высоко вверху; и ожиданье взрыва, грохота – собственной гибели! – ожиданье в страхе и тоске. Помню лучи прожекторов в ночном небе, выискивающие крохотный, но такой грозный самолет, несущий смерть, когда ухо напряженно ловит: свой? чужой? И хоть от любой бомбы, русской ли, немецкой ли, конец одинаков, но «своя» все-таки казалась милосерднее, и если уж погибнуть, то лучше от нашей, а не от немецкой – так думалось, не знаю почему.

Смерть ходила рядом: вот днем из горящего самолета выпрыгнул летчик и опустился в озеро на парашюте – это был наш самолет и наш летчик. Он, видно, не умел плавать или был ранен, или запутался в стропах, и долго кричал, взывая о помощи. Хозяйский сын поехал на утлой лодчонке спасать его, да где там – далеко! Растаяли и крик, и парашют – не отыскать. Кстати, этот парень, что был хозяйкиным сыном, незадолго перед тем пришел домой тайком – из окруженцев, по-видимому, или просто дезертир.

Можно не сомневаться, что детская душа моя воспринимала происходящее со всей остротой. Это я плыл по Ильменю на плоту дождливой ночью, и я тонул с парашютом; это я был там, где Новгород, Крест-

цы и мой отец; по мне стреляли все пушки, пулеметы, винтовки; точно так же, это я сложил оружие и сдался в плен в один из августовских дней сорок первого года...

- 2 -

Хоть и горько это, но не могу утаивать событий того дня... Что было, то было.

В Морины пришли наши солдаты, человек тридцать – остатки попавших в окружение частей. Они заняли сарай и отсыпались там. Пробиваться через линию фронта по суше или по озеру у них, по-видимому, уже не было ни сил, ни желания.

Моринский бригадир пошел с ними переговорить: мол, в деревне одни женщины и дети, а если нагрянут немцы, то что же, будет бой? Они сказали ему, что решили сдаться в плен. И, по-видимому, даже попросили известить об этом немцев, стоявших недалеко, в деревне Ракома. И вот...

- Я хотела в подполе отсидеться, - рассказывала мать. – Не знала, где и спрятаться. Таня Субботина вместе со мной жила, она говорит: люди пошли на околицу, где дорога в Ракому, пойдем и мы. Будь, что будет. Ну, мы и пошли.

- А чего вы боялись? Что и вас угонят вместе с солдатами в плен?

- Да немцы, ведь! Не видывали их никогда. Что у

них на уме? Может, стрелять начнут в нас.

Я так понял мать: страшно было от неизвестности. Совершилось то, что невозможно было воспринять умом – все противилось этому! – чужие солдаты ступают по русской земле, по ее сердцевине. Когда такое бывало?

- Вышли мы из дома – верно, вся деревня уж собралась, ждут: чего уж, убьют так убьют.

- А наши солдаты где были? В сарае или вышли?

Мне хотелось поточнее представить себе, что они чувствовали в этот час – стыд? отчаяние? безысходность? А может быть, облегчение? И такое, ведь, могло быть.

- Они на луговине сидели, отдельно. И вот, глядим, немцы едут – на мотоциклах, на велосипедах, человек десять, все с автоматами. Подъехали, бригадир им доложил – он уж вроде старосты был: так, мол, и так. Тут кое-кто из местных молочка вынес: попейте, мол.

- Угощали парным молоком? – переспросил я. – Немцев?

- Дак страху-то сколько! – жарко отвечала мать. – Ни живы, ни мертвы стоим. Знамо, себя не помня, умиловить хотели, задобрить.

Еще крови не знала новгородская деревня Морины; еще враг не воспринимался как враг, он был просто чужеземец, пришедший непрошено и неведомо зачем; еще к страху примешивалось любопытство;

еще не было той ненависти, какая была потом. Люди хотели жить, будь то солдаты или деревенские женщины с детьми.

И немцы еще не ожесточились – им легко дался этот марш до Новгорода; им казалось, и до Москвы рукой подать, и до конца войны. Они вели себя, как удачливые и непобедимые завоеватели. Между прочим, молока пить не стали и к пленным отнеслись пока что без злобы.

- Может, побоялись, что молоко отравлено? – предположила мать. – Или просто сыты были. «Никс, никс, matka, - говорят, - вон русс, им, мол, дайте». А потом встали вот так четверо, как бы ворота сделали, и наших солдат пропустили - обшаривали, ощупывали... те винтовки свои кидали.

- И я на это смотрел?

- Ну а как же! Вы обое возле меня стояли. Я вас вот так к себе прижимала.

Конечно, в эту минуту и мы с братом сложили винтовки к ногам врага и прошли сквозь их «ворота». Мне было три года, а брату шесть; мы видели: наших берут в плен, значит, и нас тоже.

Что поразило жителей Морин да, наверно, и сдающихся в плен – немцы не взяли себе брошенные винтовки, просто переломали их через колено, показывая таким образом полное презрение к ним, а также то, что своего оружия у них в избытке. Именно так и поняли их действия все, кто видел эту сцену.

Потом пленных поставили по четверо и погна-ли...

«поставили их в строй и погнали куда незнаем, а мы все стоим и плачем...»

Женщины стояли и плакали... Эта сцена глубоко символична, не правда ли? Она из тех, что можно класть на полотно, высекать в камне, перелгать в звуковой ряд – для разумения потомкам.

Не было ли этих сдавшихся в числе тех, что увидела моя мать некоторое время спустя? В зябкий осенний день гнали через деревню Новая Мельница наших пленных...

- Большая колонна, не одна сотня человек... Женщина с ними была в красной косынке и в военном – наверно, медсестра. Тоже пленная. А измученные все, оборванные, небритые... Как шли они мимо огорода - один хотел на ходу свеколку из гряды выхватить, а его немец-конвоир прикладом, прикладом... Мы закричали: «Камрат, камрат! Что ты делаешь! Он же голодный!»

Неужели этот, кого били прикладом за сырую свеклину, сдался так же легко, как те, в Малых Моринах? Небось, надеялся на лучшее...

Мы беспомощны, когда хотим знать свою судьбу.

- 3 -



целел ли дом – вот вопрос, который горячо за-

нимал мою мать. Две недели спустя, после того, как был захвачен Новгород, Субботины и она решили узнать, как и что. И вот берегом озера отправились...

- Успенев день был – праздник большой, а мы идем берегом-то озера да мимо Юрьева монастыря: Таня Субботина – жена Федора Козлякова, крестного твоего, брат ее Дмитрий Субботин с женой Грушей, Алексей с Капой и я. Боимся, а идти надо: ну, будь что будет. А немцев возле города сколько! Все поле заняли, вот где старое-то кладбище. Табором стояли – и кухни дымят, и костры горят, брезентовые палатки тут и там, столы да стулья расставлены – из города на-тащили всего; там самовар греют, тут патефон играет... машины, мотоциклы, зенитки...

Я хочу представить чувство чужеземного солдата: вот он возле своей палатки или полевой кухни и смотрит на древний город, обезображенный бомбежками и артиллерийским огнем. Так что же, удовлетворение, гордость за силу своего оружия, ощущение одержанной победы? Неужели каждый немец верил, что таким образом он возвеличивал свой народ, свою родину? Ах, да наверно, тут сознание захваченного, награбленного, взятого в плен: огромная земля была русской – стала немецкой. Это и есть чувство завоевателя, знакомое и гуннам, и татаро-монголам, и наполеоновским солдатам – неужели оно сладостно?

- Нас остановили, мы стали объяснять, как могли: идем, мол, в город, там у нас папа-мама. Ну, поло-

потали меж собой, пропустили. Немного мы прошли – опять нас остановили. И так несколько раз. А потом как началась стрельба! На кладбище пушки ихние стояли. Мы со страху-то да бежать, немец за нами, кричит: Никс! Никс! Не бойтесь, мол, это не по вас стреляем, а туда... Рукой показывает – по русским, мол.

Тот давний испуг неизменно отражается на лице моей матери, когда она рассказывает; он и в голосе, и в глазах, и во вздрагивающих руках.

- И вот вошли мы в город, где круглая башня возле вала, а тетя Варя с дядь Семеном с горки и увидели нас. Собор-то, в котором они спасались, вроде как на горке стоял. Встретились мы и уж так наплакались! Рады, что живыми друг друга видим.

Ей выпала в этот день невыразимо горькая участь постоять на пепелище своего дома, собственного дома, которым она так гордилась – «низ каменный, верх деревянный» – в котором провела самые лучшие, самые счастливые годы своей жизни. Она стояла, узнавая: вон обгорелый трехколесный велосипедик ее детей, вон кровати... померкли некогда сиявшие никелировкой шары, облупились; а велосипедик стал черным.

Кто не стоял вот так над разоренным гнездом, тому не понять меру отчаяния и обиды неведомо на кого, сознания горькой участи своей и страха перед завтрашним днем. Жизнь лишилась основ – что было

прочным, пошатнулось, нет крова и пищи, нет справедливости, законы мира попраны... Это война.

Наш дом на Десятинной улице сгорел на глазах у Варвары Ивановны, тетки отца.

- Горело все кругом... Теть Варя говорит: ваш-то домик все стоял. Но и к нему стал огонь подбираться – по изгороди, изгородь загорелась. Она из убежища своего выскочит тушить, а тут обстрел. Вот так все тушила ее, изгородь-ту, все тушила, да где ж там! Глядь, уж весь занялся...

В этом месте своего рассказа мать сидит некоторое время с отрешенным видом: все потеряно, загорелся ее дом, и некому тушить пожар. Ход несчастья необратим, непоправим. Наверное, с таким же обреченным и растерянным видом стояла она и на пепелище в Успеньев день сорок первого года. Слезы – это позднее, потом.

«ить стрельба какая... мы назад шли то за печину прятались то в канаву лажися пришли всевгрязи...» – повествовала мать в своей тетрадке.

Но жизнь продолжалась, и надо было искать себе пристанища. Субботины перебрались в двухэтажный дом, что напротив собора, да и не только они, и другие семьи тоже.

- Ну, в нем ни стекол, ни крыши. Кое-как вставили, кое-чем загородили. Там народу-то много набилось, но тетя Варя и мне комнатку заняла – проходная такая комнатка, я и ей до страсти рада.

Притащила она сюда свой скарб из Малых Морин, и нас, ребяташек, прихватила. Огляделась, осмотрелась: город в развалинах, но это все-таки родной город. Куда же из него?

«а есь нечѣ ходили к Юриву манастырю копать картошку а копать было очень опасно многих ранили и убитые были больше мы туда неходили, прожили мы –недели три немцы выгнали недалеко была деревня нова мельница мы дошли до этой деревни и поселилис водин дом чиловек 20 там и жили поля были брошены а земля стала замерзать накопили картошки морожиной наварим сами поедим и детей покормим а дать больше нечево было тут сказали пускают вновгорот мы опять пошли вновгорот занимаг где жили...»

Дополню письменное повествование матери ее же устным:

- Душа-то болит: как там мое зарытое? Позвала с собой Варвару Николавну, жиличку Субботиных: пойдем, мол, откопаем мое добришко. Одна-то я шагу ступить боюся: мало ли что случится. Она, неча, согласилась. А у Субботиных на огороде и не узнать ничего: все сгорело – и кусты, и яблони, взрыто да перемешано – снаряды там падали. Искали-искали – не найдем никак! «Ой, говорю, Варвара Николавна, пропало!» А она: «Погоди, Нюша, еще поищем». И там покопаем, и тут. Да что! Нету, пропало... - «Ты, Нюша, поспокойней... Давай вот здесь копнем.» Да

уж как-то Бог помог: нашли наш сундучок, в нем ли-сяки – оба, и мой, и Васин – костюм его самый новый, да тужурка драповая с серым воротником, да сапоги мои фетровые на высоких каблуках, да еще кое-что из барахлишка... А уж мокрое все, плесневелое, зат-хлое. Чистила да сушила... потом опять зарывала да опять выкапывала...

В эту пору она велела нам крепко-накрепко за-твердить сведения о самих себе, и я бойко выговари-вал:

- Зовут Люля Касаин, жил Новгороде, улица Де-сятинская, дом одиннадцать, папа Василей Федрыч, мама Анна Степановна, бабушки живут в деревне Ремнево и Хонино недалеко от Калязина.

Это на всякий случай... если потеряемся... или убьют мать, и мы осиротеем... или нас отберут и уго-нят куда-нибудь немцы.

- 4 -

Уж ни улиц, ни площадей в Новгороде, ни квар-талов, ни скверов – только остовы зданий, закопте-лые печины на месте сгоревших деревянных домов, воронки от бомб и снарядов, и россыпи, груды бито-го кирпича, головни да угли. Редко-редко покажет-ся боязливый прохожий из мирных жителей – никто попросту на улицу не выходил, забились в подвалы, щели, норы; каждому до себя – где укрыться да чем

прокормиться.

- За водой ходили на Волхов, а ить обстрел то и дело! Наши-то стояли недалеко, они в лесу, который из города видно. Там пушка выстрелит – слышно, как снаряд летит. Ну и ляпнешься в канаву, в яму, куда придется – пронеси, Господи! Выберешься – а тут снова снаряд. Коли идешь с ведром воды, так и ведро разольешь - ступай снова к реке...

«рядом в комнате жили две манашки одну зва-ли матушка я стала просить матушка приглядите за моим детям если будут бонбить а меня нету за-хватите их вповдвал горот был вес развален стояли одне трубы воды небыло таили снег зима была очень снежная и морозная ходить было очень опасно ухо-жу прощанос жива вернёся или нет...»

- Тетя Варя привела ко мне Анну Крайнюю. Она уж старушка была, из наших мест – из Плуткова. «Вот, говорит, Нюша, ты Анну приюти, ей некуда деться.» А я, что же, не против, много места не займет. Потес-нились.

Артиллерийские обстрелы сменялись бомбежка-ми, и то и другое начиналось внезапно, стремительно – то ли успеешь спрятаться, то ли нет. Идя по городу, испуганно оглядывайся то на небо, то на чужих сол-дат, которых в городе полно. Ходили не улицами, а тропинками по развалинам, по огородам, прижимаясь к уцелевшим стенам зданий, и чуть что, спешили по-скорей скрыться, забиться в щель, каждый в свою.

- Утром проснешься – дети есть просят. А что я вам дам? Где возьму? Хоть и страшно, а ходили на поле – нажнешь там снопик ржи горелой, в мешок его, палочкой обмолотишь – кутью варила. Картошку копали на огородах за городским валом, а поди-ко – опасно! То и дело стрельба. Ляпнешься на землю: ну, сейчас убьют, ребятишки-то сиротами останутся. Кому они нужны?

В комнатах, которые занимали Субботины, до войны жил кто-то из духовных лиц: икон в ней было много, одна одной лучше. Икону Богоматери в окладе, большую, красивую, тетя Варя подарила моей матери.

Что я крепко усвоил от той поры – молитвы. По вечерам перед сном мы с братцем становились на колени перед иконой Богоматери. Мать учила нас креститься, класть поклоны низкие, лбом до пола, и повторять следом за собой:

- Отче наш, иже еси на небеси. Да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя... яко на небеси, и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь...

- Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое победы православным христианам...

Слова молитв, которые, собственно, я знал и ранее, вдруг обрели живой, насущный смысл: о хлебе, обретении спасительного Божьего царства справедливости, о победе над врагом. Потому мы жарко шептали слова молитвы, веря, что они помогут нам спа-

стись.

Меньше всего мне хотелось умирать: так долго ждал я своей земной юдоли, и вот, едва только начав этот путь, того и гляди принужден буду вернуться... Но я же не отмерил еще и четырех лет земного пути! И вот его могут пресечь, не спрося у меня, хочу я этого или нет. Осколок снаряда или кирпича долетит до меня или обрушится мне на голову перекрытие дома – и все. Что может быть несообразнее, бессмысленнее и несправедливей! Зачем тогда было вообще родиться да еще столь знаменательно – в ночь под Рождество? Неужели затем лишь, чтоб покататься на трехколесном велосипеде да дерзновенно стукнуть молотком по лбу своего умничка-братца? А как же быть с «непростою целью», заявленной в стихах по случаю дня рождения? Да, стихи появились позднее, но цель-то определилась одновременно с моим рождением!

«Сколь нелепы законы этого мира! Кто их установил и как от них защититься?» – так, надо полагать, возмущался я в том страшном сорок первом году, в своем трехлетнем возрасте.

Это уже был бунт, который мог прогневать всемогущего Бога, а потому не лучше ли было смиренно читать три раза кстати «Богородицу», трижды «Отче наш», и много-много раз:

- Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас!..

Вряд ли молитвы мои достигали неба, поскольку,

проговаривая спасительные слова, я все-таки думал о суетном: хотелось, чтоб был ломоть хлеба с маслом льняным или подсолнечным, посоленным круто; можно и со сметаной, да и просто безо всего, просто очень большой кусок.

«некоторые стали устраиваться накухни чистит картошку а я молодая была ити одна боюс но Варвара Николавна зжалилас и пошла сомной искать кухню пашили наленинградской улице там стояли и спанцы мы им объясняем оне нас непонимают амы их но тут поняли друг друга и оне велели нам приходить надругой день мы пошли пришли и стали чистить картошку вобет и нам дали супу...»

То же самое в живом рассказе матери выглядит так:

- Старушка Варвара Николавна, жалеючи нас, говорит: вот что, Нюша, Субботины устроились на немецкую кухню, и сами сыты, и детишки. Давай и мы поищем местечко. Иначе ведь пропадешь ты с голоду вместе с детьми. У Варвары-то Николаевны муж ремесло знал: сапожничал. Он немцу подметку пододбьет – ему за работу краюшку. Она-то сыта со своим стариком, а мне где взять? Вот и пошли мы с нею. Одна я разве пошла бы! А куда идти, кого спросить, не знаем. Сначала решились наведаться в тот дом с колоннами, что на главной площади перед кремлем... он и теперь стоит, но тогда был, вроде бы, пониже – наверно, надстроили верхний этаж после войны. Этот

дом еще целый стоял, и немцев в нем много было – штаб у них там помещался, что ли. Мы и зашли... Ну, там нам сказали: не нужны, мол, без вас справимся. Только этак переговорили – вдруг бомбежка. Немцы-то как кинулись! По всем лестницам так и посыпались вниз, в подвал, да и мы с ними туда же забились. Наши самолеты бомбят, мы думаем: Ну, сейчас рухнет на нас этот дом, от своих и смерть примем, вместе с немцами. Ничего, обошлось... Однако вернулись ни с чем: столовая там была немецкая, но нас туда не взяли.

А где же я был во время той бомбежки? Ведь от здания, о котором говорит мать, - ныне тут, вроде бы, политехнический институт и, между прочим, столовая в полуподвале – до того дома, где я со смиренным братцем своим обитал, расстояние в три-четыре квартала, не больше. Небось, в какую-нибудь щель забился? Не помню.

- 5 -

Слишком многого я не помню, потому и приходится ради уточнения каждой детали обращаться к матери.

- На другой день Варвара Николавна говорит мне: «Пойдем, Нюша, на Ленинградскую улицу...» Пошли. А разбитое все! Куда ни глянь – немцы тут и там, да еще испанцев было много. Ну, в одном месте на

кухню и взяли нас: картошку, мол, будете чистить... А нам того и надо.

Свой рассказ мать строит скупой, в коротких фразах. Может создаться ложное представление и о скудости ее переживаний. Но я ловлю дрожание ее рук, вижу напряженное выражение в лице, страдальческий блеск глаз... Боже мой, зачем я выспрашиваю, будто веду по ее же крестному пути еще раз!

Я чувствую себя стреноженным и спотыкаюсь на каждом шагу: где это было? В какой день? Что за чем следовало? Почему так, а не иначе? Вопросам нет конца... Я стараюсь держаться ближе к рассказу матери, словно протоколирую свидетельские показания потерпевшей.

- Нам и поесть дали в тот день. Я, помню, ем, а у меня слезы-те, слезы-те! Думаю, сама сыта, а детишки? Повар-испанец спрашивает у Варвары Николавны: чего, мол, паненка плачет? А та объясняет – показывает ему: мол, двое маленьких у нее... есть хотят, голодные. Ну, испанец этот и говорит: ага, мол, понимаю, пикени у нее... пусть, мол, паненка найдет «качару». Мы догадались: какую-нибудь посудину...

Заглядываю в русско-испанский словарь: «качарола» – кастрюля, «пикеньо» – малыш, «паненка»... Нет, этого слова не нашел я в словаре. Почему повар называл мою мать «паненкой»? Небось, воображал, что этак-то говорит по-русски.

- Я отыскала в развалинах чугунок или ковшик

мятый, он и налил мне в него для ребятишек какого-то хлеба. Принесла я вам, а вы рады до страсти!.. Вот так и стали мы с Варварой Николавной при той кухне; то картофельные очистки принесу, то хлебушка горбушку; иной раз повезет – и первое, и второе. С Анной Крайней поделюсь, а она, Анна-то, постилась, да строго так пост соблюдала! Я ей: «Теть Анна, ешь знай. Господь простит».

Человек не живет без радости, как бы тяжело ни было. А если ее нет – придумает. Вот достанутся очистки картофельные, и они – Божий дар, и они в радость.

- Наладила, помню, лепешки печь из очисток: одни высушу да истолку в муку, другие отварю, сляпаю да и обвалю в этой мучке, испеку. Ты-то ничего, солощий был – поедаеть и поедаеть, а Витя брезгливый, щепливый: разломит вот так лепешку-то мою, а она тя-а-янется, че-ор-ная: «Мамочка, не хочу...» А я его строжу: «Закрой глаза или в стену смотри да и ешь! А не то ремень возьму...»

- 6 -

В ночь под Рождество приснился матери сон, поразивший ее тогда и удивляющий ныне.

- Будто входит ко мне в комнату Вася да и говорит: «Вот, Нюша, завтра праздник большой, у Юры день рождения – четыре годика ему исполнилось. Так

я принес вам...» И протягивает мне хлеба – много так, целую краюху. Тут я так обрадовалась, что его вижу, заплакала и проснулась. Анна Крайняя рядом спала, говорит: «Нюша, Нюша, ты чего плачешь?» Я ей: «Ой, тетя Анна, вот такой сон приснился. Васю видела ясно-ясно, будто живого. Она мне и говорит: к хорошему, мол, такой сон. А днем – ты подумай-ка! – вышли мы с Анной какое-то бревнышко распилить – холодно, дровишки нужны! – и подходит к нам молоденький испанец, говорит мне по-своему, но понять можно: паненка-паненка, сегодня праздник большой, а у тебя двое «пикени»... Дай, мол, им и помолись за меня католику. Мне, говорит, на фронт... Рукой так машет: на фронт, мол, ему идти. Краюха хлеба большая – вот как раз ее-то я во сне и видала.

Неправда ли, удивительный случай? Из тех, что бывают не так уж редко, повергая нас в трепет.

- Я заплакала, и «спасибо» не выговорю никак. Ушел он, я эту краюшечку разделила, и Анне дала, и вам по ломочку... Вот и был у нас праздник, Рождество Христово.

Однажды в дом пришла девушка, которую раньше не встречали, стала расспрашивать о немцах: где они, сколько их, какие орудия... и не очень скрываясь, призналась, что она «оттуда», от есть «от наших». Линию фронта пересекла ночью, и ночью же по льду возле Юрьева монастыря перебралась через Волхов на Софийскую сторону.

- Мы ей все объяснили: где немецкий штаб, где зенитки стоят... Она все записала, потом попросила: нельзя ли, мол, оставить вот это – что-то у нее было в руках. Ну, мы ей показали местечко – под кадушку спрятала и ушла. А потом уж забрала. Вот эту девушку помню, я стала просить – уж так я ее просила! – ты, мол, назад пойдешь, возьми меня с собой. Я ей все сказала про Васю: и что в Крестцах при эродроме служит, и как зовут, и полевою почту... Уж так я ее просила! А она говорит: я бы, может, и взяла, будь ты одна, но ведь у тебя дети. С детям нельзя: ползком сколько придется ползти!.. Ушла она и больше я ее не видала.

Явление этой девушки несколько ободрило и укрепило дух: наши недалеко, они рядышком, и даже могут вот так однажды прийти...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

- 1 -

«мы сё ходили картошку чистить пока сыты были, а тут опять пошло мученье вначине января нас снова выгоняют...»

- Работали мы на той кухне, вдруг Варвара Николавна откуда-то пришла, запыхалась: «Ой, Нюша, там

всех выселяют, детей из города вывозят!» Я, сломя голову – к детишкам своим. Бегу напрямик, огородами да по печинам, сама не своя: то ли застану, то ли вас уже угнали или увезли. Но, слава Богу, дома оказались, живы-здоровы. А суматоха кругом!..

От большой семьи Субботиных остались только две старушки – тетя Варя да тетя Дарья, но и они собирались на другой день уйти.

«а вечером приходят немцы человек восемь у которых плетки а один сливорвертом кричат очистить вес новгород злые так и замахали плеткам наменя ты партизанка я им говорю какая партизанка уменя детей двое а оне серавно меня строжат и толкают давай уходи, дети испугалис заплакали мамочка пойдем куда-нибудь нас убьют здесь...»

Хоть и стращали немцы, но надо было нам остаться до утра, не уходить из жилья на ночь глядя. Ведь, зима на дворе, лютый январь.

«атут была мово мужа тетка да её сватия оне меня посылают ежай влешино а то тебя застрелят ты молодая...»

Легко сказать: ежай. А на чем «езжай» и где нас ждут? И как быть с вещами – двумя лисяками, драповым отцовым полупальто, фетровыми материнскими сапогами, отцовым костюмом, жакеткой плюшевой, одеялами стегаными и байковым?.. А еще одежонка детская, кофты, платья... Мало ли! Не бросишь.

- Нет, в этот раз я узлы-те с собой не взяла, я их

зарыла. В том доме, где мы жили, то ли подвал был, то ли кладовка... Ну, полуподвальчик, такое помещенье, окошки еле-еле выглядывали над землей. Вот там и зарыла, и Субботины тоже... Сверху завалили и землей, и чем придется.

- А как же ты потом их забрала? Немцы пустили в город?

- А вот уж что-то и не помню. Должно быть ополя ходила... или мне Субботины привезли? Да разве все упомнишь, сынок! Ить сколько раз зарывала да потом опять раскапывала! Но тут, когда немцы-то нас выгоняли, что с собой возьмешь? Самим бы уцелеть. Я на саночки тебя посадила – финские санки такие были, полозья у них длинные – спереди-то поставила тебе возле ног такой вроде таз или чан, да в него кой-чего из посуды поклала. Ить, на новом-то месте картошки не в чем сварить будет! Вот и потащились...

Куда? Бог ведает. Просто вон из города.

- А уж ночь ноченская! Ни огонечка вокруг, ни живого человека. И такая метелюга началась! Не видно ничего, глаз выткни. Снегу в ту зиму много было, санки мои то и дело – кувырк! Витя сзади их подпирал, а ты-то младшенький, на них сидел, ну и носом в снег. Шли-шли мы да и сбились с дороги-то, куда идти – не знаю. Снегу по пояс, вы плачете: ой, мамочка, ручки отморозил! ой, мамочка, ножки отморозил! Я из сил выбилась совсем. Ну и села на санки, прижала вас к себе: все, читайте молитву, замерзать нам...

Тут надо отметить, что при рассказе мать постоянно отмечала: нет, не верила она тогда, что останемся мы в живых в тех или иных обстоятельствах. Не верила и теперь, когда заблудилась в январских снегах.

Только чудо могло нас спасти, и оно произошло.

Я думаю, можно так это объяснить: мой отец был в эту пору уже убит (и дай Бог, если похоронен!), но бессмертная душа его скиталась над заснеженными полями новгородскими. А тут нас выгнали из города, и ясно же, что мы в этой метельной ночи обречены на гибель. Разумеется, отец сопровождал нас в эти минуты, помогая тащить санки и –поднимая меня из сугробов, только мы о том не подозревали. Думаю, что его отчаянные усилия и его неутоленной в земной юдоли отцовское чувство сотворило то, о чем, как о чуде, вспоминает доньне мать.

- Да нигде Господь испанцев послал! – с сияющим лицом повествует она сегодня. – Их пятеро было, шли они по дороге из Новой Мельницы в Лешино и услышали, что ребятишки-то мои плачут. Свернули к нам, подходят: паненка, паненка, ну что? капут? Никс капут, говорят, иди за нами. Да и подхватили санки, а вас обоих на руки взяли, вот так до самого Лешина. Дай Бог им здоровья! Конечно, если остались живы, а коли погибли да умерли, царство им небесное. Без них пропадать бы нам...

Я же верю, что именно охранительная тень отца моего побудила испанцев к доброму поступку. Сам

я не помню событий той ночи. Впрочем, что-то неясно брезжит в памяти... Словно бы отзвук в душе родился, когда сильные руки подняли меня и понесли, понесли точно так же, как это делал когда-то отец, большой всемогущий человек. В эту минуту я простил ему давнюю обиду. Если, конечно, еще помнил о ней, сущей безделице далекого счастливого времени!

- Их в Лешине много стояло, испанцев-то: в каждой избе по двадцать-тридцать человек; спали вповалку, просто на полу или где придется. Однако вот хоть и чужие солдаты, а не оставили нас; и даже в деревне привели в избу, горячим кофеем напоили. Без них нас небось, никто и не пустил бы на ночлег – переполнено все! Залезла я с вами на печь, там старуха-хозяйка спала. Ну и отогрелись мы. Радости-то у меня сколько было: и ребятишки целы, и сама жива. И так-то заснула, будто убитая!

Начался тот период семейной истории, который обозначен в наших устных преданиях как «это когда мы жили в Лешине».

- 2 -

Местный староста поселил нас в какой-то избе, брошенной хозяевами. Пустовать когда ей, той избе! Едва поселили, староста повелел:

- Пол вымой да набросай соломы: испанцы придут, ночевать будут.

Старушки тетя Варя да тетя Дарья подселились к нам чуть позже, через несколько дней. А пока что мы были одни.

- А я и думаю: как же это? Ить молодая была, что у них на уме? Боялась-то как! А не своя воля, сама из милости поселилась тут. Ну, пол вымыла, соломы натаскала. И верно, пришли испанцы уж под вечер, в сумерках, совсем зачоченевшие; холод был лютый, а они в шинелишках, в ботинках. Один из них – такой удалец! – прямо от порога пустился в пляс – ради сугреву; ноги у него совсем замерзли. Уж как плясал!

Нет, не сладко быть и завоевателями, так я думаю. Из теплой-то Испании да в суровую Россию... Одно дело танцевать фламенко в веселии сердца, и совсем другое – от припекающего русского мороза.

- У одного, помню, как стал разуваться, ботинки с ног снялись вместе с кожей – пальцы отморозил. Ходить не мог – его потом наши же бабы лечили: мазали ему чем-то ноги. Знамо, не своей волей они к нам пришли. И угодили в такие холода! В тот раз они поели чего-то и легли спать на полу, не раздеваясь. А мы опять на печь забрались...

Деревня эта – Лешино – всегда полна была чужими солдатами, то немцами, то испанцами; одни уходили, другие приходили – прифронтовая зона! От артиллерийской перестрелки вздрагивала земля днем и ночью. Наши самолеты прилетали по ночам бомбить город и позиции немцев вокруг него – доставалось и

Лешину.

Мы при бомбежках прятались не в подпол, как это делали другие, - там казалось еще страшнее: завалит в случае чего, и не выберешься! Мать просто укрывалась одеялом с головой, прижимая к себе нас, детей, с единственной мыслью: будь что будет, и если убьют, то чтоб всех вместе, разом.

Это очень страшно, поверьте, - сидеть под одеялом, когда вся земля тяжело вздрагивает от близких взрывов, когда где-то в небе гудят самолеты, когда каждую минуту именно на твой дом, именно на тебя может упасть бомба, и некуда спрятаться от нее.

Старушки-родственницы предложили пережить ночные бомбежки на улице, там-де не так страшно; вышли мы, помнится, во время очередного налета – нас взрывной волной ударило в ворота так, что не скоро опаматовались. С тех пор и прятались под одеялом на кровати: от своей судьбы не уйдешь, а коли суждено погибнуть, ну что ж...

В одну из таких ночей бомба упала совсем неподалеку, она разнесла по бревнышку большой крестьянский дом. Немецкого офицера, ночевавшего там, вынесло и ударило о дерево, разорвало живот, а вот хозяйева остались живы, причем девочку лет пяти нашли среди бревен живой и невредимой.

Наутро мы бегали смотреть на последствия ночной бомбежки. Помню злых немцев, увозивших куда-то своего убитого...

- Под смертью были во всякий день и во всякую ночь, - вздыхает мать, качая головой и дивясь, как это осталась жива.

Опасное соседство со смертью стало уже привычным: куда отсюда уйдешь? С одной стороны – Новгород и за ним уже фронт, отгораживавший от нас половину мира, где, собственно, вся Россия и Москва, и родная для матери сторона; с другой – озеро Ильмень, его не переплывешь, да и на том берегу под Старой Руссой шли жестокие бои; наконец, с третьей стороны – блокадный Ленинград. Куда ни пойдешь, везде война, и мы посреди нее, как в доме, охваченном огнем, когда нет возможности выбраться.

- 3 -

«влезине я жила два года но тут горя хлебнула есь было нечево в деревне была кухня испанская пойдешь туда наберешь очисток картофельных высушишь истолчешь, а на работу гоняли в новой мельнице был штап к восьми часам чтобы мы туда явились а стрельба ниприкращайтся и снаряды летят и бомбят ухажу с детьм прощаюс вернеся жива или нет и оне уменя были подстрахом...»

Всех местных жителей и беженцев, что ютились в Мориных, Ракоме, Лешине, Новой Мельнице, всех, кто в состоянии был держать в руках лопату или лом, немцы ежедневно гоняли на расчистку и починку до-

рог или заставляли разбирать развалины в Новгороде.

- Построят нас в колонну, как военнопленных, и погонят. Утром туда, вечером обратно, а дети весь день брошены. Кто посмотрит, что двое малых детей? На это не обращали внимания. Попробуй-ка, откажись...

«приехал карательный отряд уш очень жестоки на них черные шинели и наворотниках и на рукавах написана смерть и многих наказывали оне нехотели с руским жить а нас согнали всю деревню в три дома и где они жили там положили бревно хто провинился тово положат набревно с обох сторон стегают кому 25 розог кому 15 но щасие наше скоро уехали...»

- Эти были злые, как собаки... Их и немцы-то боялись! Старуху лет семидесяти вот как отхлестали плеткой: она не немецкой кухне сахару взяла кусок, а повар заметил, пожаловался. Ну, ее раздели, привязали к бревну... нас заставили смотреть... Двадцать пять розог дали! Она и встать не могла...

Надеюсь, я не был свидетелем этой сцены. А если был, то наверное, смог проследить логическую связь этого события со своим разоружением в деревне Малые Морины. Ведь когда я вместе с нашими солдатами бросил винтовку к ногам немецкого офицера, вот тут в его руке и появилась плеть для моей матери и для неведомой мне старухи и для меня самого.

Однажды мать и сестра Таня соседка опоздали на работу: прибежали, когда колонна была уже постро-

на. Они хотели в нее встать, но конвойный немец отстранил: нет, мол, вам вот сюда, в сторонку. Явился какой-то начальник, ему объяснили, что-де вот опоздавшие.

- Вот тут мы страху-то натерпелись! Мы в слезы, да что слезы-то – плачь не плачь... Однако обошлось. Начальник этот сказал: чтоб такое в последний раз... Ну, в следующий-то раз мы на работу бегом.

«вапреле стало теплее стали ручи разливается староста нас наряжал поочереди накухню чистить картошку мы были очень рады туда ити дадут поес и какую картошену сунеш в пазыху принесеш домой...»

Ну, при кухне – это почти отдых, потому и ходили туда по очереди те, у кого малые дети, кому не на кого их оставить.

«настало лето а наработу сё гоняют а поес нечиво и работать заставляли так и стоят патрули глядят хто как работает а то и в штап сведут а там нектрых плеткой стегали а у нас исилы нету ночи неспавши как ноч так начинаетца бонбешка...»

В Новгороде они грузили на автомашины кирпич – этим кирпичом мостили дороги. Бригада мужчин, в которую входил и Дмитрий Субботин, убирала трупы, вывозила за город в общие могилы.

- Был у нас паренёк лет семнадцати, и заболел он малярией. Вот работает до полудня, а как двенадцать часов, так начинает его трясти. Сделается белый, как полотно, и уж стоять не может, не то, что рабо-

тать. Мы его положим в канаву, укроем какой-нибудь одежинкой, а ить лежать-то нельзя, за это и плеткой отхлещут. Мы немцу-то, конвоиру, говорим: камрат, этот парень – капут, больной он. Видишь, трясёт его? Ну, глядишь, иной смилостивится: капут, скажет, понимаю. А сам оглядывается: вы, мол, его прикройте, а то по дороге начальство ездит, увидит лежащего – конвоиру отвечать.

«а было очен холодно ходили вбатинках наболтаешь каких нибуть тряпок наноги и пойдешь целый день наморозе свосьми часоф досеми вечера придёиш домой а тут полная изба салдат и погретца негде наногах всё сырое а посушить негде мамочка мы покушали нам камраты дали ну иладно сами ничево ниберите обнимеш детей прижмеш к себе вся отрада была дети...»

В проулке возле нашего дома зенитки стояли. Время от времени среди испанцев начиналось возбуждение: с криками «Иван! Иван!» они кидались к этим зениткам, и те начинали бабахать – это означало, что высоко в небе летит наш самолет.

Это означало еще, что незримая граница пролегла между тем самолетом и нами, и по какой-то нелепой прихоти судьбы или из-за возмутительного стечения обстоятельств мы теперь оказались на одной стороне с чужими, а наши, где отец и этот русский самолетик в небе, – они по другую сторону.

«а бои сё идут», - отмечала мать время от време-

ни в своей тетрадке.

И вот что: именно от той поры осталось в моей памяти воспоминание о стихах, неизвестно кем написанных, которые читали вслух и передавали друг другу беженцы; и моя мать переписала их тоже, хотя ни до войны, ни после не интересовалась стихами. От того стихотворения я ныне помню только две строки:

*И образ твой, родной, неповторимый,
Увижу только в беспокойном сне.*

Должно быть, покоряла всех разлученных пронзительная нота разлуки, тоски, надежды... Потому в стихах этих была такая же потребность, как в хлебе.

- 4 -

Утром встанешь – чем детей кормить? Хорошо еще, вы у меня были умненькие робятки. Бывало, прибежит с улицы тот или другой: «Ма-а-мочка, поесть хочу». А у меня нет ничего. Ну, ладно, скажет, не плачь, мамочка, я пойду еще погуляю.

В доме, в котором мы жили, уехавшие хозяева оставили в подполе картошку; она морожена была, но вполне съедобная, выручала в первые месяцы.

«а тут упала бонба прямо вдом председателя колхоза оне выкуирывалис, а впотполе была яма ржи вот все и ходили и брали эту рош...»

Во дворе нашего дома и полевая кухня стояла; испанцы еду готовили на ней, но обедать садились в

избе. Иногда повар оставлял хлеб на столе – может быть, намеренно подвергая нас искушению: не украдем ли мы, русские дети, ихний хлеб. Мать постоянно строжила нас с Витькой: не троньте чужого! Избави Бог... И вот однажды, когда с нами жили тетя Варя Субботина да ее сватья тетя Дарья, на кухне этой пропал кусок колбасы. Дело вышло нешуточное, за воровство полагалось наказание плетью, а за детей ответчица мать. Старухи начисто отрицали свою вину, таким образом выходило, что виноваты мы, малолетки, а мы не ведали за собой вины.

Мать вернулась с работы – в доме переполох: испанцы позвали переводчика, разбирались с его помощью, и кое-как грозу пронесло. Потом уж старухи признались: «Ой, Нюша, прости ты нас, Христа ради. Ить, это мы колбаску взяли, а ребятишки твои не виноваты. Мы на них вину свалили со страху: авось малых не тронут, авось простят».

И теперь еще мать вспоминает случившееся с обидой на эту родню: чужие, жившие с нами до того и позднее, так-то не поступали и, напротив, часто выручали.

Вот какая-то «бабушка» появилась в рассказе матери:

«а тут сказали подречкой лежит лошадь убитая люди ходят замясом туда и мы пошли збабушкой а там все уж обрезано но и мы нарезали кусочкоф наварили щей кропивных а посолить нечем попросии у

солдат даст а которой откажет, а голод не тетка все будешь ешь...»

- Пены много было с той конины, - добавляла она в устном рассказе. – Когда варишь ее, уж снимаешь-снимаешь эту пену... А так ничего, вкусная.

Однажды кто-то проведал о большой немецкой кухне в лесу, туда уже ходили кое-кто из беженцев и на зависть всем разжились подгорелыми хлебными корками. Отправилась и наша мать: авось повезет.

- Было нас человек шесть или семь, а до пекарни той далеко, не меньше пяти километров. И вот, веришь ли, пока мы шли лесом, по обеим сторонам дороги, словно нынешние гаражи – все склады и склады: снаряды лежат, бомбы... и в ящиках штабелями, и просто поленицами, будто дрова. Сколько было этих складов! Такая силища... Мы меж собой тогда говорили: мол, не одолеть немцев. Где уж! Не верилось.

Нет, не верилось...

Добрались они до той пекарни, а что там? Пожились опять корками, выброшенными вон, подмели, подобрали кое-где просыпанную муку...

- Да и вынес нам немец по булочке, сжалился, дал каждой – теплая еще, мягкая. Так-то вы обрадовались, когда я принесла!

Меня удивляет этот их поход: как женщины могли пересилить страх, пойти в лес, будто в логово зверя?... Впрочем, это все размышления на сытый желудок, и у меня нет маленьких детей, которые просят

есть.

- А Субботины наладили ездить по ночам рожать. Поле это обстреливалось, а ночью-то ничего, можно было, хоть и страшно. Я и стала просить их: возьмите и меня. А они и слушать не хотят: что ты, Нюша! Там стрельба – ну, как тебя убьют! Куда тогда твоих детей девать? Но мне хотелось намолотить маленько зерна. Они-то подзапаслись. Знамо, семья большая да дружная. Так я их просила да умоляла, что Леня Субботин сжалился: ладно, говорит, Нюша, поезжай, я за твоими детьми пригляжу. Ну, Дмитрий лошадь запряг и поехали мы... Через Новгород едем – разбито все.

- погоди, мам, а вас немцы не останавливали? Это что, разрешалось вот так ездить? Или у вас пропуска были?

- Вот я что-то не помню... Дак, может, Дмитрий пропуска выправил? Где уж все-то упомнишь, сынок.

- А как вы Волхов переехали?

- По мосту... Был мост. Небось, немцы починили тот, что разбомбили.

Наверное, они построили наплавной, гадаю я.

- Вот из города выехали мы, а уж дело к вечеру. Тут наши-то как начали по нам стрелять! Может, приняли нас за немцев или еще почему. Мы с телеги-то в канаву... Уж ничему не рады, а лишь бы ноги унести, живыми остаться. Вот так зря и проездили.

Еще один источник пропитания – мать ходила по

деревням менять на продукты свое добришко, вывезенное из Новгорода и сбереженное до этих пор. Ходила иногда довольно далеко, километров за десять.

- За шаль, помню, дали полведра картошки; шаль богатая была... А что нам полведра? Надолго ли хватит? Платья свои меняла, жакетку, щиблеты отцовы...

Количество вещей уменьшалось столь катастрофически, что было причиной ее повседневного горя: каждая вещь досталась в свое время великим трудом, а теперь уплывала почти задаром.

- Помню, пришла в Большие Морины выменивать да и разревелась там. Сердце-то рвется – как там детишки? Ить, оставила голодных! А мне и говорят: да ты пройдишь по деревне-то, пройдишь, может кто милостыньку подаст. Я и прошлась...

В этом месте голос моей матери падает до шепота: до самого крайнего унижения дошла она – стала нищенкой.

- А ить мало ли таких-то, как я, было! Не больно подавали. У кого лишний кусок есть? Ну, в той деревне дядю Семена знали, он там не один сезон валенки валял. Я в избу-то зайду, скажу, что племянница ему, объясню, что, мол, вот так и так, сама беженка, дети голодные, ну и подавали мне: хлебушка, помню, принесла вам...

Она и одета была, как нищенка: платок повязан низко на лоб, пальтишко старое, на ногах отцовы кожаные сапоги, которые она поверху обмотала тря-

пьем, - это затем, чтоб не позарился на сапоги какой-нибудь угрюмый немец или веселый испанец да и не разул ее.

- 5 -

«дело было к осине пошли холода заболел у меня Юра трясла малерия, приходит староста наряжает ево звали Михаил ему лет 50, я ему гаворю уменя заболел Юра дядя Миша как мне ити ну ладна меня оставили надругой день приходит дядя миша и гаворит нюша возмис на салдат белье стирать утебя дети малые все притебе будут а можбыть и хлебушка дадут и задетей што делат наде брацца привезли белья пар сто меня ужась взяла грязное вкрови и вшивое пойду наулицу вытрису и веником опахну потом начинаю стират...»

- Принесут белья целую кучу, а мыльца дадут маленько: на десять пар – кусочек со спичечный коробок. А ведь вшивое какое! Бывало трясешь над снегом, так на снегу – будто плюш красный! Испанцев так и звали: «Вшивая команда...». Я стираю, а мыльце-то экономлю: на обмылочки в деревнях выменивала картошки. Руки до крови истерла! Ходила на ручей полоскать да сушила, да гладила... Сколько работы-то!

«были и салдаты хорошие и спанцы лутше немецоф а немцы очен злые, белье я выстирала приехали

забрали две буханочки хлеба дали и все...»

Испанская буханочка хлеба была совсем невелика, вдвое меньше тех нынешних, что мы покупаем в магазине. Итак, примерно килограмм хлеба – столько мать заработала, выстирав гору белья, от которого ее «ужась взяла» и от которой руки истерла в кровь. Но вот сэкономленные обмылочки были тем товаром, который пользовался спросом при обмене его в окрестных деревнях на картошку. По-нынешнему говоря, это была *валюта*.

- Помню, наменяла целый мешок картошки на это мыло. Дело было осенью. Туда-то поехала – снег был; а за день растаяло, дождь пошел, обратно пришлось по грязи санки с этим мешком волочь. А уж ночь ноченская, темнота – глаз выколи. Там, как к Лешину-то от Морин идти, - аллея, деревья высоченные. Я иду, а ветер в деревьях только «шшш-ух». Жуть! Саночки у меня то и дело кувырк, мешок – в грязь. Подниму, а они опять кувырк. Я измучилась! Ну, не могу больше, сил нет. Тащила-тащила, да и бросила на дороге. Пошла к Лешину, иду и плачу. А там возле деревни хуторок был, в нем мужик жил с женой, звать Николаем, я их обоих звала, вместе нас немцы на работу гоняли. Постучалась – они, слава Богу, открыли. Рассказала им: так, мол, и так. А они: пойдём, пойдём, говорят, Нюша, как это можно – мешок картошки бросить! И пошли мы уж втроем, да никак не отыщем в темноте-то! Еле-еле нашли...

Рассказывая, мать время от времени останавливается, вздыхает – она вся погружена в то время, куда мне из нынешнего дня попасть не дано. Как ни стараюсь я проникнуться ее состоянием – нет, мое чувство умозрительно, отстраненно; это все равно, что одному гореть на костре, а другому стоять рядом, лишь ощущая его жар, - такая разница.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

- 1 -

У нас с братом был свой промысел по части добывания еды.

На окраине Лешина, я помню, были раскинута палатки, в них весной и летом жили испанцы; тут же дымила их солдатская кухня – мне-то даже ветер от нее казался вкусным и сытным, меня тянуло на этот запах, как собачонку по заячьему следу.

Помню, повар растапливал свою железную печку тонкими прямоугольными щепочками желтого или оранжевого цвета; те щепочки пылали, словно порох – что это было? Может, именно порох? И у этой кухни, и у палаток было множество крайне интересных вещей: оружие, фляжки, бритвенные приборы... Помню круглую желтую коробочку для сливочного масла,

поразившую меня, - как она была хороша!

«очен страшно было, испанцы вдомах жить боялис и стояли в палатках на берегу речки и наши дети бегали кним салдаты им дадут кателочки мыть а вкателке оставят супу оне и покушают а кателочки им наречке вымают иду сработы, а мои бегут дети мамочка мы покушали мы у салдат мыли кателки аоне нам уставляли супу ребята и завтра пойдут и мы пойдём сними смотрите если стрелять или бонбить будут лажитес наземлю, витя смотри за юрой бери ево заручку он был вместо няни...»

Тут, пожалуй, уместно будет отметить, что испанские оккупанты любили меня. Оно и понятно: хорошего человека сразу видно. Потом-то конечно, я испортился, а тогда был совершенно безгрешен. Особенно благоволил ко мне испанец по имени Хосе.

- Он не простой солдат был, - отмечает мать, - а вроде командир – шархент. Его все слушались.

- Наверно, сержант, мам?

- Нет, шархент... - говорит она уверенно. – Вот, бывало, придут они уставшие, голодные – их на работы, что ли, куда-то гоняли. Придут, а им обед на солдатской кухне уж приготовлен, но вас, ребятишек, обязательно покормят. А тебя этот Хосе завсегда сажал на колени, ото всех отличал и по-испански говорить учил. Ты уж лопотал маленько по-ихнему.

По-видимому, об этом же в тетрадочке сказано так:

«ете салдаты уехали другие приехали начальник приказал всем детям давать супу и ете салдаты были три недели а потом уехали а другие приехали но и эти давали детям супу, но скоро уехали...»

Однажды кто-то из испанцев, живших в палатках на берегу ручья, дал нам с братом по куску меду. Это был засахаренный мед, почему-то круглыми кусками, вроде мячиков; свой я держал в обеих ладошках, Пока шли до дому, я этот мед слизал почти без остатка; а умник-братец донес его нетронутым. Помню торжество брата, когда мать меня наказала (не прутом ли?) за то, что не сохранил и съел так глупо, а его погладила по головке... Умничек он был у нас, ничего не скажешь.

В эту пору я заболел.

«приходит мой Юрочка с улицы и говорит мамочка я полежать хочу я вижу его начинает трясти так каждый день накрываю ево одеялом а руками держу и сама плачу и тут пришел салдат ты што плачешь я ему говорю пикеня заболел посмотрел нанево а ево уж очен трясет и ушел прошло часа два идет опять паненка пойдём бери пикеню ябоюся куда ити он показывает а я не понимаю пришли туда а там врач осмотрел Юру дал таблеток и сказал сколько давать... неделю полечила и мой сынок выздоровел спасибо тем салдатам...»

- Ты их благодаришь! – говорю я укоризненно матери. – Может, эти испанцы в отца моего стреляли.

- Сынок, война была, - отзывается она рассудительно. – Там уж кто в кого стрелял... А они подневольные, те испанцы, не по своей охоте пошли. Ну, а добро – оно всегда добро.

- 2 -

Однажды ездил я в Испанию... Гуляючи по Мадриду, мог легко вообразить себе, что вот-вот остановит меня где-нибудь на улице Алкала или на площади Пуэрта дель Соль ветеран «Голубой дивизии»:

- О, туриста! А не тот ли ты русо пикеньо, что мыл мой солдатский котелок в ручье, за что я подкармливал тебя, голодного?

А я б ему ответил:

- О, сеньор! А не ты ли тот вояка, что у нас в России снимал свои ботинки вместе с собственной кожей?

- Ты замерзал так же, как я, пикеньо! Помнишь, я спас тебя от смерти студеной крещенской ночью?

- А не по твоей ли вине я оказался там, в поле? И скажи мне, ради Бога, сеньор, чего тебе надо было у нас на Новгородчине? Что ты там хотел найти?

- Таков был приказ, а мы солдаты. Но мы не воевали с женщинами и детьми, мы жалели вас. Помнишь, однажды я дал тебе и твоему брату по куску меду?

- Наверняка это был наш русский мед! Вы кого-

то ограбили, не так ли? Признайся, сеньор, тебе сразу станет легче. И мы отплатили вам за этот подарок, не так ли? Вспомни, как угощали русским хреном, к которому не ты ли проявил любопытство?

- О, это была славная шутка! Мы много смеялись потом... Но ты должен помнить, русо, что мы вылечили тебя тогда от малярии!

- Добро – оно всегда добро. Так говорила моя мать.

- Она мудрая женщина. Храни ее, святая мадонна!

- Сеньор, - сказал бы я еще, и это уж непременно, - а не ты ли украд у нее икону Богородицы? Не она ли висит и ныне в святом углу твоей квартиры?

Тут, я думаю, он непременно смутился бы. Потому что одно дело – украсть кадку с медом, и совсем другое – святую вещь.

- Такая у меня икона Богородицы была! – до конца дней своих жалела мать. – Испанец украд. Все лопотал: «Мадонна! Мадонна!». Вернулась я с работы – нету иконы. Мне бы прятать ее подальше, а я на стену вывесила, молилась. Уж я плакала-плакала, жалко было! Просила его: камрат, отдай, грех тебе... Накажет, говорю, тебя Божья мать. Отказывается: не брал, мол. А по глазам вижу: он взял, больше некому. Другие-то, вроде, посовестливее.

- Сеньор, - сказал бы я в Мадриде моему собеседнику, - вы воровали весело и беззлобно. И вообще

вы, испанцы, легкий в общении народ. Прошло уже полвека с тех пор, и я не держу зла. Я люблю вас...

Жаль, не усвоил я уроки испанского языка, преподаваемые мне шархентом Хосе. Онигодились бы в Испании. Впрочем, мы неплохо объяснялся и так.

Вот к примеру, ехали мы от Гренады в Мадрид и остановились в пути, где останавливаются многие. Прежде всего зашли чинно в необходимое заведение – оно оказалось отделанным мрамором. Спутники мои, писатели, обменивались впечатлениями:

- О, да тут жить можно! Очень достойное место... Как они этого достигают – даже запаха нет?

Я же завернул в бар – прихватить с собой бутылочку пива. Не любитель я пива, но поскольку в моем городе его нет, а если появляется, то надо отстоять многочасовую очередь, то надо же было отведать здешнего! Мы с барменом очень живо обменялись суждениями о погоде и о природе с помощью нескольких волшебных слов, вроде «буэнос диас!» (добрый день!) и «комо эста?» (как поживаете?), а также улыбок и жестов, я отсчитал ему двести песет за бутылку (это равно трем автобусным билетам и полукилограмму мяса) и в прекрасном настроении заспешил назад.

Говорят, что у меня легкая и стремительная походка... Как это получилось, не знаю, но дверь, чем-то занавешенную, я принял за стену, а стеклянную внешнюю стену бара – за свободный проход... Клянусь, я был трезв! С чего быть навеселе, коли в кар-

мане так мало песет! Итак, я стремительно врезался в это стекло и вышел вон при мелодичнейшем звоне его осколков – они обрушились на меня водопадом...

Наверно, надо было пускаться наутек, поскольку капитал, которым я располагал, не мог покрыть нанесенного мною материального ущерба. Наш автобус стоял уже готовый тронуться в путь, но я вернулся, причем совершенно растерянный.

- Сеньор! Что будем делать?

Я ожидал, что сейчас бармен и двое официантов кинутся ко мне с матерными словами – нет, они улыбались! Они улыбались, как я теперь понимаю, потому что я, их посетитель, прошел сквозь стеклянную стену и остался цел и невредим, без единой царапины.

Кто-то свыше явно покровительствует мне!

Вот тут я пустился растолковывать им, что и почему, как это произошло. Наверное, я был достаточно красноречив, поскольку они очень быстро поняли меня, весело смеясь, хлопали по плечам и объясняли, что если б я поранился, им пришлось бы выплатить мне же приличную сумму на мое излечение. А так ничего нет проще: они сейчас позвонят страхагенту и еще кому-то, и те через час привезут точно такое же стекло. Я же сделал вывод о ненадежности испанского стекла: ведь на лбу моем, протаранившем стеклянную стену, было лишь едва заметное красное пятнышко, и даже очки мои остались целы.

Теперь скажите, что бы я сделал, если б не умел

объясниться с испанцами? Если б не обрел навыков общения с ними еще в сорок втором году?

Вот в Кордове шли мы с товарищем по шумной многолюдной улице и вдруг кинулся к нам, заслышав нашу русскую речь, испанец примерно моего возраста: «О, русо!». Был он с пареньком лет четырнадцати. Нет, разумеется, не ветеран «Голубой дивизии» - просто, как выяснилось, ходил морем в Мурманск и Ригу. Этот житель Кордовы был так воодушевлен встречей с нами! Слезы выступили на глазах у него, будто он встретил родных ему людей. И все перетолковывал сыну: вот, мол, русские, живые, настоящие. И нам, не понимающим по-испански, объяснял, что он любит Россию и русских.

В Севилье на улице окружили меня мальчишки лет семи-восьми, стали что-то спрашивать. Я подарил им значки с видами Московского Кремля, и на вопрос, кто я такой, назвался: «Русо эскритор». Слово «эскритор» (писатель) не произвело на них никакого впечатления, но «руссо»... они пришли в великое изумление и прыгали вокруг меня с сияющими глазами, крича: «Русо! Русо!»

Боже, прости мою дерзость – не упрекаю, знать хочу: почему допускаешь великие кровопролития между народами? Если мы провинились перед Тобою, скажи, зачем создал нас неразумными и злыми? Почему вдруг одни восплают ненавистью к другим и льют реки крови? В чем тут причина? И есть ли на-

дежда на благой исход?

- 3 -

Но вернемся в деревню Лешино, в сорок второй год.

В жилой части нашего дома однажды поселился испанский офицер – это именно его заинтересовало, что русские женщины за обедом намазывали на хлеб вместо горчицы нечто, называя это ругательным словом «хрен». В Испании, понятное дело, такой диковины нет. Любознательный человек, он решил отведать экзотической приправы, так сказать, полакомиться.

- Поддел чуть-чуть на ложку, а мы ему: чего мало-то, черпай больше. Ну, он и хватить полную! Глаза вытаращил, рот открыл, вздохнуть не может... да и за ливорверт: подумал, что отравили его. Мы перепугались, закричали! Ну, мало-помалу отошел, потом и сам смеялся с нами.

В другой раз было...

«иду с работы а меня встречают иди скорей твово Юру хотят расстрелять я вбежала визбу смотрю мово Юрачку поставили к стене и сам надним держит ливорверт и ево строжит он стоит губки трясутся и белый как полотно я схватила ребенка он меня толкает я ему гаворю стреляй всех троих а он ругаится и гаворит он шпион какой шпион ему три годика, чево он зделал съел у тебя чево а он показы-

вает письмо написал выпанию и оставил на столе а Юра подошел и написал свое имя Юра я ему говорю он написал как ево зовут махнул рукой и ушел я думала он приведет перевочика но не пришли...»

Прошу обратить внимание: еще говорил я нечисто и на вопрос «Как тебя зовут?» отвечал помладенчески: «Люля Касаин», а писал-то грамотно. Правда, только одно это слово – Юра – больше ничего: мне очень нравилось мое имя! Поэтому я так старательно слюнявил химический карандаш и писал с нажимом.

Офицер этот был пьян по случаю того, что назавтра предстояло ему идти на фронт; по свидетельству матери, он кричал на меня:

- А-а! Большевик! Коммуниста!

Наверно, решил, что я написал «Смерть испанским оккупантам!». Потом он оттаял и даже объяснил кое-как, что запечатает испорченный конверт в новый и отошлет домой в родную Испанию с пояснением, что, мол, «русо пикенью» написал тут свое имя.

Легко догадаться, что я тогда еще понял: писать буквы на бумаге – дело ответственное, опасное, за него можно поплатиться жизнью, а раз так, то оно достойно настоящего мужчины. Имену все основания предположить, что именно тогда я сделал свой главный жизненный выбор.

Как знать, может быть, донныне хранится мой первый писательский автограф где-нибудь в Севилье

или Гранаде!

- 4 -

Два года жизни в Лешине уместились на нескольких страничках материной тетради. По крайней мере половину ее повествования я приведу здесь, ибо у меня не хватает ни знаний, ни умения изложить это по-своему. Да и нужно ли?

«и тут мы дождались весны стало тепло приходит староста и говорит если нужна земля то садите картошку с нами бабушка была чужая стала копать усадьбу а мне пришлось копать полосу, в мае мы посадили очень мелкой ходили наиспанскую кухню и там набирали испанцы нехотели чистить мелкую картошку и вываливали а мы выбирали и садили но полосу я посадила и так я была рада хоть своя будет картошечка.

опять приходит староста, говорит, если будете сеять овес то испанцы дадут семян оне и западут и мы взяли по полосе збабушкой и посеили ну теперь сами себя убеспечим пойдём посмотрим на всходы все взошло хорошо душа радовалась пойдём и на рош поглядим она уже стала колоситца, дети мне говорят мамочка мы теперь не будем голодать нет теперь у нас будет свое поспеет рош выжну и замолотим смелем испеку хлеба или лепешек и будем ес, пошла окучила картошку свою венки хорошие и так я за ней

ухаживала полола штобы нетравинки небыло.

прошло несколько время пошел слух што нас хотят выкуировать и пошли поглядеть на свои всходы рош стала буреть зернышко наливается а у меня слезы так и катются а оне спрашивают мамочка чевоты плачеш мы теперь не будем голодать а вечером приходят салдаты и гаворят собирайся завтра будем выкуироват здетям я заплакала а один салдат подошел и гаворит паненка неплач здес будут бои а то здес капут будет.

На другой день подогнали лошадей погрузили и повезли незнаем куда, это был сорок третий гот...»

Привезли нас не куда-нибудь – в Новгород, на железнодорожную станцию, разбитую совершенно; лишь остовы станционных строений остались от нее да искореженное железо, да обгорелые вагоны. Нас посадили на открытые платформы...

Зачем немцы увозили отсюда мирных жителей? Для чего оккупантам нужны были эти бабы с детишками? Какой тут расчет с их стороны? Я не могу этого объяснить – только излагаю факты.

Каждую минуту беженцы на станции ожидали, что вот-вот станут отнимать у них пожитки, потому одевали на себя по несколько одежин: мол, с живого человека не снимут. На мне было два костюмчика: сверху вельветовый (мать звала его «манчистеровый» – это, как я догадываюсь, от английского города Манчестера, издревле завозившего в Россию такие ткани),

под ним другой. А когда уж разместились на платформе и ждали отправления, приспичило мне отбежать в сторонку. Я, мальчик благовоспитанный, снял с себя верхний костюмчик, аккуратно сложил рядышком, спустил штанишки второго костюмчика, а сделав свое дело, побежал к поезду. Спыхватились: где новенький костюмчик? А поезд уже тронулся.

Конфуз, кстати сказать, произошел на глазах у «невесты»: на платформе с нами была материна подруга Люба, жившая до войны на Новой Мельнице; у Любы этой – две девочки, Валя и Люся; младшая как раз моего возраста, и матери наши уже сосватали нас, пошучивая на этот счет. А поскольку теперь смеялась надо мной и «невеста», то я решил, что никогда и ни за что не женюсь на ней. Ясно же было, как божий день, что достойной жены из нее не получится!

Везли нас на запад весь день и всю ночь, то и дело останавливаясь по неведомым причинам. На полустанке, где-то, вроде бы, между станциями Дно и Луга («Ить, разбито все! Ни надписей, ничего») велели сойти – отсюда на подводах развозили беженцев по окрестным деревням.

Мы попали в деревню с названием Лужа. Она не была разорена, люди жили тут мирно и даже сытно, так что мы тогда решили, что поговорка «сесть в лужу» в данном случае теряет свой смысл.

- 5 -

«и такой был дождь с градом мы приехали все мокрые переязбли выбраной староста нас разводил по домам привел коднему дедушке а он жил один дядя Миша пусть у тебя поживет он согласился и видит что мы очен озябли лезьте напечку погреитес а мы все ночи неспавши влезли напечку согрелис и так мы уснули проснулис уже вечер вы наверно поес хотите я вам чаю согрел дядя Миша у нас поес нечево ну я сичас сварю киселя овсянова и поедите наварил и мы поели спасибо дядя Миша...»

Деревня Лужа располагалась на берегу небольшой речки; ручей рассекал ее на две неравные части, потому они имели каждая свое название – Малое Лужино и Большое Лужино. Может, быть и вся деревня звалась Лужино, однако в обиходе для краткости звали ее просто Лужей. Сразу за рекой – лес, да и по этой стороне, где деревня, на некотором удалении тоже лес. Место живописное и довольно глухое.

Наш домохозяин дядя Миша до войны работал в Ленинграде полотером. Дом у него просторный, на две половины, окнами назад и наперед, покрашен и внутри, и снаружи; правда, передняя, в которой мы поместились, не имела печки и не могла отапливаться зимой. А в теплую кухню дядя Миша нас не пускал, он сам там жил – летом это не имело значения, но пришла осень...

В Луже стоял небольшой немецкий гарнизон; мать говорит: «Штаб у них тут был». Ну, она штабом называет любую немецкую контору, так что значителен ли этот штаб, мне сказать трудно.

«немцы землю разделили по одноличному муцин небыло остались одне женицины вот я ковсем и ходила помогала за кусок хлеба какбы детей накормить и у дяди Миши косила усадьбу, сушила покос кончился поспела рош и мы с Любой ходили жать хто только позовет нам платили два кило в день ржи а овес жали два кило овса, лен драли слали поднимали мяли анам платили овсом...»

- Так мы там неплохо зажили, мам, в этой Луже! – воодушевлялся я, добравшись в ее тетради до этого места.

- Знамо, неплохо, - отзывалась она.

«картошку копали платили два ведра в день и молочка дадут детям намелю муки напеку лепешок оне у меня исыты а сама где работаю там поем картошку оне выбирали плохо мелкую небрали вот мы с любой ходили перекапывать наберешь поузлу насило тащишь...»

На жатве мать вспоминает, так заведено было: хозяйка, у которой они с Любой работали, пекла в этот день пироги из новой ржаной муки – и для себя, и для них. Это уж, так сказать, сверх оплаты.

- Уж какие пироги были! С луком, с кашей, с яичком. Принесут, бывало, в поле – еще теплые. Я так их

любила! И сама поем, и детишек покормлю.

- Пирог... Где эта деревня, мам? Я хочу туда.

- Что ж, там хорошо было. Мне нравилось; и сама деревня, и люди хорошие... Я там и осталась бы...

- Что, насовсем?

- А хоть бы и насовсем. Место красивое, лес кругом, в лесу грибов-то сколько! Староста Сергей Иванович запряжет лошадь, и все вместе едем за грибами... Белые брали – не такие, как у нас, а вот не могу сказать какие. Так целую плетуху наберешь, и на телегу ее, а иначе не донести.

Плетуха – это большущая корзина, которую употребляют для того, чтоб накосить травы корове или нащипать ей лопухов. Если столько грибов в этой деревне... Где она и как там теперь, вот что интересно!

Дядя Миша бобылем жить не хотел и надумал жениться. Сначала-то он посватался к моей матери: он-де согласен и детишек, то есть нас с Витькой, усыновить и вырастить. Его предложение было отклонено в дипломатической форме: «У меня муж есть, дядя Миша». Намеки его на то, что неизвестно, мол, жив ли еще муж, были отвергнуты уже сердито, и хозяин дома попросил освободить его жилье: он нашел другую невесту, вроде бы, из беженков.

Мать пошла к старосте, и Сергей Иванович («Он хороший был, - говорит она, - худа от него мы, беженцы, не видали») определил нам жить в маленькой избушке возле ручья. В этой избушке раньше жила

женщина с ребенком, но боялась очень; он ее куда-то переселил, а нам разрешил занять.

- Я тут в Луже-то устроилась так хорошо! И зерном немножко запаслась, и картошкой, и мучки намолола, засушила сухарей. Осенью-то мы с Любой посеяли ржи озимой по полоске...

- Так вы что, пахали?

- Нам немец вспахал.

- Какой немец?

- Там же немцы стояли! Они заставляли всех местных сеять поле, и сами же пахать помогали им. Они, ить, немцы-то, такие же хрестьяне, как и мы... не все, конечно, а некоторые.

И опять я останавливаюсь в размышлении: это что же, общая политика немцев на оккупированных землях, или самодеятельность их в некоторых местах?

«везде сеила да садила а снимать урожай нигде не пришлось, - пишет мать в своей тетрадке – тут стали поговаривать что хотят нас выкуировать, немцы ходят днем а партизаны ночью а мы тех и других боимся...»

- И партизан боялись?

- Да ведь среди них всякие были. Однажды ко мне постучали – мы уж спать легли. Я выглянула: кто? Свои, говорят, открывай. Ведь не спрашивают, можно ли войти, нет ли. Не просят, а требуют. Открывай, и все тут. Ну, открыла. Вошли, пятеро их, а за старшего какой-то Петька. Этот стал допрашивать меня: кто

такая да откуда. Зачем, мол, вас немцы сюда завезли? Почему не выкуировалась из Новгорода... Я ему объясняю, а он и слушать не хочет, злой – страсть! Словно мы враги какие...

Чем же был разгневан партизан Петька? Того мать не помнит. Может быть тем, что оккупанты помогают местным жителям пахать землю и сеять хлеб? Получалось, вроде бы, как сотрудничество с врагом. Но ведь этот хлеб потом партизаны же и отбирали, так что кто с кем и во имя чего сотрудничал, разобраться надо.

- Уж так он меня строжил! А вы стоите рядом, плачете. Он и вас стал строжить. Злой, как собака. А был с ними Ваня, молоденький такой, он перед войной в техникуме учился, ему лет этак семнадцать было. Он за нас заступился: чего ты, мол, кричишь на них? Разве они в чем виноваты? Они – беженцы, не по своей воле тут...

- Этого Ваню потом немцы убили. Где-то в дальней деревне случилось: среди бела дня вошел в нее, не остерегся, а немцы – откуда их черт принес! – навстречу, то ли на подводе, то ли на грузовике. Убежать не сумел, ну и выстрелил в себя, такой хороший паренек был...

- 6 -

В опасении, что немцы угонят всех неведомо

куда, жители окрестных деревень стали уходить в лес и там рыть землянки: чтоб в случае выселения можно было спрятаться, отсидеться. Одна из деревень уже перебралась в лес вся целиком.

- Мы просились к партизанам, а они нам говорят: как мы вас возьмем, ведь у вас дети. А там у них то и дело бомбежки. А мы знай свое: если, мол, нас убьют, ну так тому и быть.

- Чего же вы к ним просились, если, сама же сказала, боялись и их тоже.

- Сынок, свои они и есть свои. Какие бы ни были, а все русские. От немца ли добра ждать! Да если б партизаны согласились, мы б сразу к ним в лес ушли, а там будь что будет. Погибать так уж всяко лучше со своими.

Однажды все лужинские с заступами, с топорами отправились в лес рыть землянки, и наша мать со своей подругой Любой с ними.

- Только в лес-то вошли – там как начали стрелять! Мы оттуда да бегом. И до самой Лужи этак-то... А сзади стрельба такая – страсть! Из лужинских, правда, никого не убило, а вот из той деревни, что вся переселилась в лес, очень многих поубивало. Прибежала я домой – ну, говорю Любе, никуда больше не пойду, пусть убивают здесь с детишками вместе.

Случилось так: вечером рядом с нашим домом раздалась вдруг автоматная очередь. Мать тотчас велела нам лечь на пол и читать «Отче наш». Как раз

под нашу молитву прямо под окнами послышался короткий возбужденный говор, матерная брань и вслед за нею вторая автоматная очередь; мы зашептали еще жарче:

- Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бесмертный, помилуй нас.

Голоса и торопливые шаги затихли, а через некоторое время послышался стон раненого – то был не стон, а крик на одной ноте – «О-о-о! О-о-о!»

Хозяйка соседнего дома, слышно, заплакала в голос: «Да что же это! Да как же теперь!..»

Наша мать, перепуганная до крайности, через окошко спросила, что случилось. Та сказала, что у нее в доме убили двоих немцев и местную девушку, а еще ранили Колю, сына старосты, это он стонет.

- А я выйти-то боюсь, незнамо что дальше будет.

Вскоре мать убитой девушки привели под руки, сама идти не могла... Потом и староста пришел за сыном...

Наутро выяснилось вот что.

Партизаны пришли, как приходили всегда, и сразу постучались в дом к Сергею Иванычу: узнать, есть ли немцы в деревне. Тот сказал: днем были, но собирались уезжать, по-видимому, уехали.

- Ну-ка, пусть твой сын проведет нас по улице, - приказали они.

Коля, паренек лет шестнадцати, повел их. Перед тем старший из партизан – это был Петька – строго

выговорил ему, что-де нечего отсиживаться дома, мог бы воевать. Так что в проводники его взяли как бы ради испытания.

В соседском от нас доме остались ночевать двое немцев. Играли в карты с двумя девушками – одна из них была хозяйкина дочь. Свет в этом доме горел ярко, это и привлекло внимание партизан. Они послали Колю узнать, что там. А хозяйка упросила его не выдавать немцев, а то-де стрельба начнется – не уцелеть. Он вышел и сказал Петьке: нет немцев. Тот не поверил, заскочил в этот дом – немцы играют в карты... Оружие висит на стене. Он будто бы скомандовал «Хенде хох!» («Руки вверх!»), одна из девушек успела кинуться ему в ноги, под автоматную очередь, и тем спаслась. Вторая автоматная очередь была по старостиному сыну, когда Петька вышел на улицу.

Утром мы с братом бегали смотреть на убитых. Помню в стеклах круглые дырочки с трещинами во все стороны. Сквозь них мы увидели: один немец сидел, откинувшись спиной к стене и уронив голову на плечо; второй упал головой на стол. Убитую девушку, должно быть, уже забрали родители.

За партизанские подвиги немцы взыскивали с местного населения, то есть в данном случае могли взыскать с меня, пятилетнего, с моего семилетнего брата, и с таких же, как мы.

Известно было, что незадолго перед тем оккупанты сожгли жителей одной из деревень: возле той

деревни подорвался грузовик с немецкими солдатами.

Теперь деревня Лужа замерла в страшном ожидании.

ГЛАВА ПЯТАЯ

- 1 -

Студеным январским днем – как раз в Рождество! – немцы выселили всех из Лужи и окрестных деревень. То ли предполагалось большое наступление на партизан, то ли по какой-то иной причине, всем велено было пешком ли, на подводах ли добираться к железнодорожной станции.

Опять мы увязали узлы и, боясь, что вещи отберут, напялили на себя и то, и это. На меня поверх моего зимнего пальтеца мать надела свою плюшевую жакетку и обвязала шалью, а на брата Витю - отцову драповую тужурку; на себя поверх майского пальто – лисяк...

Узлы пришлось распихивать по разным подводам, обоз растянулся; матери казалось: ну, все, лишилась добришка. Она шла, выбиваясь из сил, боясь потерять не только узлы свои, но и нас. На середине пути она и вовсе сомлела; стала проситься на подводу и возчик, видя, что ей худо, разрешил притулиться с

краешку.

Вдоль дороги валялись брошенные вещи, зябли брошенные коровы, овцы...

«сажали нас на подводу три четыре семьи все детям и так было холодно и метель сколько было слёс как мне хотелось заработать хлеба чтобы детей прокормить а тут пришлось все оставить а кто останется расстреляем, приехали на станцию а дети у всех плачут озябли идет перевочик ведите детей вбутку пус там погреютца мы слубой свели детей и стали грузить свои узлы втоварный вагон атам только иней кругом детей посадили в одеялы закутали сголофкой дышите вам будет теплее и што только было на этой станции и все плачут и дети и женщины закрыли вагоны и тронулся поезд на жис унас надежды небыло думаем где-нибудь нас спустят подуклон...»

Я могу все это переложить на более понятный язык, но думаю, что материн слог в данном случае вполне уместен. Надеюсь, неграмотность ее возместится краткостью и точностью выражений.

«ноч провезли нас а утром открывают двери и нас выгоняют извагоноф идут немцы человек десять и у всех плетки в руках и такие злые становитес сосвоим детям поставили нас вряд ну думаем сичас расстреляют а оне отбирали детей по десять и по девять лет...»

- Я стою да вас за головки пригибаю, чтоб поменьше были, - добавляла мать уже в устном расска-

зе. – Ты-то, конечно, мал еще, а Вите-то было семь лет. Могли и его отобрать. Уж так я боялась!

«их оставили в сторону а нас загнали вагоны закрыли...»

Было очень холодно в тех товарных вагонах, разбитых, изрешеченных, не раз побывавших под бомбежками.

«Ноч проехали я сё шарю ихние ношки нет мамочка мы неозябли даи им посухарику сидят и грызут атут опять на какойто станцие открывают двери и нас выгоняют ставят врят опять выбирают детей которы побольше а нас загнали вагоны и повезли дальше...»

Я пытаюсь представить себе пережитое матерью: вот стою, а рядом мои маленькие дети, их могут сейчас отнять и увезти неведомо куда...

Нет, увольте, это мучительно даже представить.

- 2 -

«приехали влатвию тут детям дали бульону и надвоих буханочку хлеба подходит мущина и спрашивает куда вас везут мы незнаем харашибы вас влатвию, литва бедная латвия богатая здес жить можно тут закрыли вагоны повезли дальше привезли нас влитву горот шауль и тут поселили вбарак тесовый холодный кругом толькo иней набили нас как вбочку селедок лагерь обнесен калючей проволокой и

тут надышали потекло спотолка мы сидим все мокрые пришел мущина сказал поруски идите принесите дроф натопили хоть немного опсохли и нас ветом лагире держали две недели наложен был крантин, потом нам сказали завтра вас свезут в баню, пройдете баню отправим по хуторам...»

Вот это я помню: вокруг множество голого народа, дождик сверху, мать моет нас с братом, тут же и Люба с девчонками... в углу единственный одетый человек – немец – крутит вентили, отчего голая толпа взрывает – кипятик, ведь! – а ему, дураку, любо.

По выходе из бани нас осматривала какая-то комиссия: за столом сидели немцы в белых халатах поверх мундиров, к ним подходили семьями голые, подошла и наша мать, держа меня на руках и загоразиваясь Витькой. Немец в белом халате заглянул нам в головы – нет ли вшей – сказал: фрау – гут, киндер – гут. И мы отошли одеваться.

«через два дня нам сказали завтра приедут литовцы вас заберут хто имеет 25 гектар, тот должен взять рускую семью...»

И верно, приехали подводы, стали было сажать семьи на выбор, в которых дети повзрослее да взрослые помоложе, посильнее, но немец-переводчик рассердился на литовцев:

- Вы не на базаре! Мы русскими людьми не торгуем...

И велел выстроиться подводам в очередь, те

подъезжали к воротам барака одна за другой, а из лагеря тоже по очереди выпускали семьи, садились как кому придется.

«меня посадили Любу и мы километроф 10 ехали вместе, потом разехались я Любе гаворю мы найдем друг друга от шауля двадцать пять километроф...»

Наш литовец, то есть тот, кому мы достались и который правил лошадьми, по-русски говорить не умел, и когда мы с братцем запросились до кустика, мать не смогла ему объяснить, чего хотят дети: языки разные, а на пальцах это дело не растолкуешь. Тогда мать соскочила с телеги, забежала вперед и схватила лошадей под уздцы, остановила – литовец испугался: что задумала эта женщина?

Потом они не раз вспоминали это происшествие, и всякий раз смеялись.

Вот этот литовец привез нас в местечко, называвшееся Покопи. Впрочем, нет: так называлось село, в котором был костел... Может быть, мать переименовала на свой манер литовское название, или так оно и называлось – Покопи? Не знаю. А нас-то привезли на соседний хутор, где жила всего одна литовская семья. В которую сторону от Шауляя мы ехали, бог ведает. Хотя, постойте-ка, когда наши войска потом наступали, они шли к нам через Шауляй, то есть сначала освободили этот город, а потом уж нас. Значит, мы оказались западнее Шауляя.

- 3 -

Я помню немного тот хутор: обычный крестьянский дом, перед ним колодец с журавлем; за колодцем полукругом дворы и сараи; далее ручей... Был еще вишневый сад; за садом и прудом – большак, мощный булыжник.

«подехали к дому хозяин с хозяйкой встречают нас в хате пол земляной стены черные как вриге, хозяйка собрала ужин и мы поели, как трудно было привыкать к чюжому изыку оне гаворят я непонимаю я гаворю оне непонимают ухазяина семя была четыре челавека два сына одному 24 года другому 22 года этот учился вшавуле...»

Земляной пол в жилой избе и черные, закоптелые, будто в риге, стены – это были первые впечатления наши, говорившие о том, что мы в чужой стране, в чужом укладе жизни. Прав оказался тот человек в Латвии, сказавший: «Литва – бедная...»

«хозяева хорошие были уних было восемь штук свиней две каровы и телка годовалая, два теленка, две лошади и жеребенок, я была как работница варила кормила свиней доила короф и што низаставят я сё делала...»

Это было хозяйство среднего достатка, но жили литовцы скупно. За столом хозяин отрежет каждому члену своей семьи по тоненькому ломоточку, а ковригу хлебную – себе за спину. Достанет из-за спины,

отрежет ломоточек, и опять туда спрячет.

- Бывало хочется хлебушка-то, так бы и попросила: тетя Маня, дай кусочек. А не попросишь! Я за стол-то садилась сама третья, а на работу – одна.

Обедали мы и ужинали вместе с хозяевами, но... хоть и за одним столом, а хлебушек врозь: хозяин заметил, что у нас есть сухари, насушенные еще в Луже.

«уменя было немного сухарикоф я ксуну сё и дам посухарику детям мы русские всё едим схлебом а оне –удивляются, сухарики у меня кончилис елисуп гольем носуп свиной жирный когда хозяйка сварит борщ я рада была мы ево кушали скартошкой, и тут пришла весна стали палевые работы я все умела делать и косить и жат штобы оне незаставили все я делала, и ясказала дядя антоша хоть немного давайте хлеба у меня нет весь кончился он посоветовался с хозяйкой и гаворит нюша тогда давай кушать вместе и мне было так харошо и я сыта и дети сыти и ябыла очень давольна...»

По-видимому, и хозяйева были довольны своей работницей, потому что дядя Антоша не раз одобрительно говорил ей:

- Нюша, вот ты городская, а ничему тебя учить не надо, все умеешь делать: и корову доить, и лошадь запрячь, и косить, и жать...

Ну, говоря «ничему не надо учить», хозяин несколько преувеличивал. Кое-какие новые навыки мать обретала и у них: вот, скажем, как литовцы кормили

свиной:

- Каждый день меня посылали на пастбище собирать конский навоз. Придешь с корзинкой, наберешь – и на кухню: варили его свиньям. Я говорю хозяевам: в нем уже жуки завелись... А они мне: ну это и хорошо, Нюша, свиньям полезней. Конечно, добавляли картошечки, мучки, а все равно... Тут же борщ варится, тут же и это...

Дядя Антоша в первую мировую был у немцев в плену вместе с русскими солдатами и там немного научился говорить по-нашему. Он служил для остальных переводчиком, причем тот парень (мать называет его «Лександра»), который привез нас из Шауляя, проявляя живейший интерес к русскому языку, то и дело спрашивал, как по-русски будет то или это.

- Мы с ним часто работали в поле вдвоем: он пашет, я бороню. Придет время, он скажет: давай, Нюша, позавтракаем. Хозяйка-то давала нам поесть с собой. Помню, тетя Маня даст мне то-оненький ломтик хлеба и к нему ломоточек сала соленого. Поесть-то как хочется! Ну и сядем с ним... А вот не скажу плохого: работали вместе, и пошутим, и посмеемся, я была молодая, и он тоже, а вот не скажешь зря, держал себя строго. Честный был парень. Может, конечно, отца боялся. Бывало сядут они, отец с сыном, и старший младшему что-то по-своему выговаривает сердито. Нет, худа про Лександру не скажу. Да и хозяйка ласковая была...

Хозяйку звали Марией, она по национальности была, вроде бы, полячка. И старшую дочь их звали тоже Марией, она уже вышла замуж и жила где-то возле Шауляя: муж ее был такой невидный мужичок, намного старше ее и небольшого росточка, лицом некрасив.

Моя мать однажды осторожно спросила хозяйку:

-Тетя Маня, что же вы дочь отдали за такого, ведь она у вас красавица.

И та ей объяснила, пригорюнясь: богатый, мол... мельница у него и дом большой.

Эта дочь с мужем гостили иногда на нашем хуторе, привозя с собой дочку свою Броню, девочку лет трех, с которой, я помню, мы играли в песочек, набивая им стаканы и выставляя песочные столбики в рядок. Мои столбики неизменно получались лучше, Броня плакала от досады, и я, будучи кавалером благородным и великодушным, намеренно портил свои песчаные столбики или ставил их криво-косо.

Кстати сказать, с этой Броней случилось происшествие: однажды мы с нею играли в прятки, и вот девочка исчезла. Пропала, и все тут, нет ее нигде. Взрослые переполошились и почему-то сразу решили, что это я, русский мальчик, злой и преступный в своих замыслах именно потому, что русский, утопил литовскую девочку в пруду, то есть спихнул в воду с берега, она и утонула. Тотчас меня заперли в каморку и сказали матери, что если действительно произошло

несчастье, то они и меня утопят. Мать была в отчаянии во все время, пока взрослые снова и снова обыскивали дом и дворы, пока багром щупали дно пруда.

- Они утопили бы тебя, - убежденно говорила мать. – Такие злые были! Я им что-то объяснить – они и не слушают!

Броню нашли под кроватью, куда она спряталась от меня и мирно там уснула.

Я не помню подробностей этого происшествия, но вот страх свой помню – страх запертого в темную каморку человека в ожидании расправы.

- 4 -

Заметно было, что в семье хозяина не любили русских; то есть не нас, беженцев, а вообще русских. Их считали виновниками многих несчастий. Надо честно признать, что помимо исторической неприязни малого народа к теснящему его великому соседу, тому были кое-какие причины недавнего прошлого.

- Пришли в сороковом году русские, отрезали у меня землю, - говорил хозяин, - отдали бедняку, а тот все равно ее не засекает, потому что ленивый! Так зачем же ваши у меня отобрали, а ему отдали? Ведь пропадает земля!

Помнится, я чувствовал себя виноватым, хотя точно знал, что лично я ни у кого не отрезал землю и никому не раздавал. И мой умник-братец тоже, и мать.

Однако же на этот счет у литовцев было свое мнение, потому и на нас они посматривали отчужденно.

Младший сын хозяина, Виктор, дома появлялся очень редко, он учился в Шауляе.

«тот и вовсе ненавидел русских както приехал из шавуля и такой злой и мне штота говорит сердито и я непонимаю он меня и давай по щекам хвостать я заплакала потом всходит Лександра, гаворит, ты што плачешь, я ему пожаловалас меня вихтор нахво-стал по щекам незнаю зашто он пошел сказал отцу и дядя антоша и спрашивает за што он тебя я незнаю ай стервец ну и стервец неплач и пошел его ругать и мне на глаза больше неказался...»

Это случилось в какой-то праздник, после возбужденного разговора в соседней комнате, где собралось довольно много народу за столом. Я тогда уже понимал, что и разговор этот, и поступок хозяйского сына, случившийся при нас, детях, отчего мы закричали и заплакали, - это все оттого, что мы чужие в Литве, что мы – русские.

Осознание своей национальной принадлежности пришло ко мне очень рано. То есть еще до Литвы, а Литва лишь укрепила его. Я не мог не понимать свое отличие и от литовцев, и от немцев, и от испанцев. Меня занимало, почему так и что это такое? Вот люди, говорящие на другом языке, нежели моя мать, мой брат и я сам; у них иной облик, совсем непохожий жизненный уклад... Почему они враждебны к нам, к

русским, вплоть до того, что вот немцы с испанцами пришли на нашу землю, чтоб убивать нас? С ними сражается мой отец, защищая нас и Новгород, и всю страну, населенную русскими.

Помню, всякая детская ссора размежевывала нас, ребятишек, по национальному признаку. Однажды дело дошло до серьезной драки, до швыряния камнями, и когда литовские воины бежали с поля сражения, мы громко и с торжеством кричали:

- Русские победили! Победа за русскими!

Хозяйка в этот раз пришла к моей матери и разгневанная, и испуганная:

- Нюша, послушай, что кричат твои дети! Ну-ка, если немцы услышат!

Действительно, такие возгласы могли нам дорого обойтись. Избави бог, попасть под горячую руку немцу: по мере того, как фронт становился все ближе, те становились злей. Но я тогда же догадался, что хозяйка рассержена не из-за страха перед немцами, а просто не могла переносить наши победные крики.

Наверно, уместно мне будет сделать тут небольшое отступление, чтобы сказать по этому поводу следующее.

Весьма недоумеваю я, когда сталкиваюсь с рассуждением, что-де гордиться тем, что ты русский (грузин, узбек, еврей и т. д.), глупо и недостойно; поскольку-де нет заслуги человека в том, что он родился от людей той или иной национальности. И каж-

дый раз я возражаю:

- Но, позвольте, разве плохо, если человек любит свою родную мать, гордится ею? Хотя, если разобраться, в том нет его заслуги, что он родился именно от неё. Но – как же можно отнять у человека эту гордость? Равно как и гордость от сознания принадлежности к тому или иному народу.

- Но это оскорбляет национальное чувство других! – возражают мне.

В ответ я напоминаю хрестоматийную историю о том, как девочка потеряла в толпе свою маму и ищет ее, плачет неутешно; в ответ же на вопрос «Какая твоя мама?» – она отвечает бесхитростно: «Моя мама лучше всех», считая, что таким образом ее легко определить.

- И это прекрасно! – говорю я. – Без этого чувства к своей родной матери человек не будет уважать и других матерей. Равно как, пренебрегая своей национальностью, он пренебрежительно относится к национальным чувствам других, таким образом угнетая, притесняя. В том, что кто-то скажет: «Моя мать лучше всех матерей в мире!», нет никакой обиды другим, в частности, моей матери. Мне приятно будет слышать, если кто-то так скажет, я зауважаю такого человека.

Мои родители и все деды-прадеды были русскими людьми, и, признаюсь, мне приятно сознавать это. Вместе с тем я готов пожать руку литовцу (французу,

египтянину, чукче), если он скажет: «Я литовец, моя Литва – самая прекрасная страна в мире». Мне будет понятна его гордость, и я разделю его святое чувство. Этот человек – мой брат.

- А как быть тем, у кого происхождение, так сказать, неясно? – спрашивает мой собеседник. – Скажем, папа инопланетянин, а мама – русалка.

- А это его проблемы, - отвечаю я. – Вот, скажем, теперь воссоздается дворянское собрание в Москве, в него принимают людей соответствующего происхождения. А я – природный крестьянин, голубой крови во мне – ни капли. И что же, я должен чувствовать себя ущербным? Да ничуть! А если б меня задевало, что не принимают во дворяне, так это уж истинно мои проблемы. Наверное, мне следует не обращать на дворян внимания или создать для себя что-нибудь новенькое, не менее благородное.

- Но в чем смысл этих дворянств, национальностей?

- Это нравственные опоры самосовершенствования человека.

- Мы идем к тому, чтоб мир стал един и народ стал один на всем земном шаре. У людей будет один общий язык, одна неразделимая культура, понятие о национальности исчезнет!

- Если так, меня это не радует, - отвечаю я. – Конечно, прекрасен луг, на котором цветут одни маки или одни ромашки. Но тысячекратно прекраснее – если на

нем разнотравье. Мне трудно примириться с тем, что исчезнет, к примеру, василек или одуванчик, купальница или мышиный горошек. Пусть цветут все! То же и с птичками, с букашками, со зверями.

- Я понял: вы – шовинист, - заключает наш спор мой собеседник.

И я остаюсь со своим недоумением.

- 5 -

Итак, фронт приближался...

«с любой встречаемся она ко мне ходит а я кней, от нашево хутора затри километра было село Покопи несколько домоф и там была служба ихний костел понашему церкоф имы туда ходили молится тетя Маня пускала меня оне очень верущие вера уних католическая и вот мы саберемса все руские а нас там много было и што нибуть новинькова узнаем и мы ветом кастеле ходили каждое воскресение, жили как в темном лесу или бутылке ничево незнаем а тут што нибуть узнаешь...»

Однажды моя мать с подругой Любой ходили даже в Шауляй помолиться в православной церкви и были на исповеди. Служил батюшка из знакомой нам деревни Ракома, что под Новгородом.

- Вы русская? – спросил он у моей матери.

- Да, я из Новгорода.

- Потерпите, - утешал он ее. – Наши скоро при-

дут...

Двадцать пять километров до Шауляя, столько же обратно - этот путь пешком две беженки проделали затем лишь, чтобы услышать это утешительное «Потерпите... Скоро наши придут».

Хозяева получали газету, Александра читал ее отцу, но нам они ничего не рассказывали. Однажды мать спросила:

- Дядя Антоша, скажи, что пишут?

И Александра живо залопотал отцу:

- Папа, саки, саки Ньюше.

То есть, скажи, скажи ей. И тот перевел:

- Вроде бы как ваши русские одолевают немцев.

Вот еще город взяли. Могут и сюда дойти.

Мать отвечала ему, замирая:

- Ой, что ты, дядя Антоша! Не верится...

Нынче-то впору удивляться, как это можно было не верить в нашу победу, в освобождение, но тогда...

«и тут стали Шавуль бонбить и кнам приехали из шавуля дедушко сбабушкой хозяева боялис уходили на другой хутор а я сетим старичком и бабушкой оставалас было уних убежище вырыто мы там и начивали...»

Тут надо пояснить, что хутор наш располагался как раз возле большака, по которому шли и ехали отступающие немцы, потому и было страшновато ночевать. Что касается «бабушки и дедушки», то это дальние родственники наших хозяев, которым в Шауляе

из-за постоянных бомбежек жить стало невозможно.

То и дело на хутор заворачивали немцы, требовали от хозяина, чтоб запряг лошадь, подвез их хотя бы несколько километров по дороге. И он запрягал, отвозил, каждый раз боясь, что лошадей отнимут; поэтому стал их прятать в лесу.

Немцы, по свидетельству матери, имели в это время уже весьма потрепанный вид: нет, это были не те немцы, что так весело и бесстрашно подъехали на велосипедах да мотоциклах к деревне Морины на берегу озера Ильмень и так лихо ломали через колено русские винтовки. То был август сорок первого, теперь же – август сорок четвертого. Куда подевалась бывалая уверенность да молодцеватость, этакий победоносный вид; они нервничали, много кричали, рыскали глазами, суетились.

Горизонт в той стороне, где Шауляй, заволакивало дымом, все явственнее и теперь уже неумолчно гроыхала канонада, словно оттуда, с востока приближалась грозная туча и вот-вот ударит молния; жилось в эти дни тревожно, напряженно, однако же и радостно от горячей надежды на скорое избавление.

Однажды мать пошла на соседний хутор к своей подруге Любе, проведать ее, а идти недалеко, с километр, однако этак леском, кустами. Был дождливый августовский день, и дождик сеял уже не одни сутки. Мать не хотела брать нас с собой, но мы увязались за нею и бежали сзади, поскуливая:

- Ма-амочка, возьми нас! Ма-мочка, и мы с тобой!

А она прогоняла нас назад. Тут показался неподалеку солдат в немецкой форме, но безоружный – вышел вдруг из кустов и направился к ней. Мать испугалась, но что-то вместе с тем подсказало ей, что это вовсе не немец, а значит, можно и не бояться; она стала нас звать к себе: идите, мол, скорее, не отставайте.

А тот подошел, поздоровался, спросил:

- Вы русская? Я слышу, по-нашему говорите.

- Да, русская, - подтвердила она.

Он сказал, что бежал из лагеря военнопленных, но вот заблудился по причине ненастной погоды, и никак не может определить, куда ему теперь идти: небо закрыто тучами.

Мать объяснила ему, где всходит и заходит солнце, предупредила, в которой стороне большак и там немцы, показала, что вот в той стороне – гиблое, непроходимое болото.

- Как теперь вижу его: такой красивый парень, волосы этак зачесаны, темные; родом, сказал, из Москвы. Я спросила, сколько же ему лет; а как раз сегодня, говорит, исполнилось двадцать. И вот все жалею, что не взяла его адрес. Остался ли жив? Была бы весточка его родным... Да ить разве думали, что уцелеем!

Постояли они, поговорили; солдат все поглядывал

вал на нас с братом, грустно и ласково. Потом он попрощался с нами и пошел в лес.

На другой день, выглянув в окно, мать снова увидела этого парня: он подходил к хутору по гряде кустов.

- Я уж подумала: неужели опять заблудился? Его заметил Александра, вышел ему навстречу, о чем-то переговорил с ним, пришел домой, отрезал краюху хлеба и кусок соленого сала, вынес.

Был слух, что на соседнем хуторе скрывается еще один пленный из русских; беженка, жившая там, пошла за сеном для коровы и услышала, как в глубине сенника кто-то закашлялся. Сказала хозяевам, а они уже знали, предупредили ее; молчи, мол.

- 6 -

Все шли по дороге немцы, все шли... И на машинах ехали, и на подводах, но все пустее становилась дорога, все пустее... Где фронт – не понять было, гроыхало уже со всех сторон.

Однажды, выглянув в окно, - а в окно, надо сказать, теперь выглядывали то и дело – мать увидела, что со стороны болота мимо хозяйских сараев к дому идут цепочкой солдаты... человек шесть или семь. Эти уже с оружием и в пилотках с красными звездочками.

- Я выскочила из дому-то, сама не своя, да им

навстречу. А они подходят... я заплакала: вижу, что наши.

- Вот так просто и подошли? – сомневаюсь я. – Среди бела дня? Ведь немцы же могли быть на хуторе.

- А не шибко-то они боялись. Даже не спросили ничего про немцев-то.

- А-а, небось, сначала понаблюдали, потом уж подошли, - догадываюсь я, человек сугубо невоенный, винтовку в руках не державший и в строю никогда не шагавший, не говоря уж о том, чтоб в разведку ходить.

- Они только спросили: вы, мол, русская? Я сказала: да, мол, беженка, из Новгорода мы. Пить попросили, я их напоила – ведро воды достала из колодца. А они говорят: знаешь что, мы поспим вот тут, на пригорочке, а ты нас через два часа разбуди. И – веришь ли? – все легли прямо возле колодца и заснули. Как убитые. Я их стерегла... Хозяев не было тогда, они на другом хуторе скрывались. Так и сидела, поглядывала, не навернулись бы немцы.

А где же я был в это время? Проклятая память! Она не держит ничего. Уж наверняка я был тут же. Где же мне еще быть!

- И часового не оставили? – спрашиваю я, надеюсь на свое деятельное участие в боевых делах разведчиков.

- Спали все, как один! Знали, видно, что немцев нету. Я вам строго-настрого наказала: не кричите,

мол, и не шумите. Вы и сидели тихо. Ну, два часа прошло, я их разбудила. Они, правду сказать, встали, как встрепанные, разом. Умылись, попрощались со мной и пошли в лес. Сказали, уходя: фронт, мол, близко, и скоро наши сюда придут.

И вот наступил день... Но я воспользуюсь тут материным повествованием:

«дети мои гуляли во дворе а я чтото делала смотрю вокно машина другая третья и сё оптыканы ветками исалдаты всерых шинелях а напоследних машинах как грянули песню катюшу и я соскочила славки ой тетя маня наши русские пришли а у самой слезы ручьем от радости, бежут мои дети так и прыгают мамочка неплач нас теперь отправят вросию и тут комне подошла тетя Маня и давай меня целовать вобе щеки нюша невыдавай нас...»

Свершилось! Наши пришли...

Машины эти проехали, однако – что это? – к вечеру вернулись... Мать испугалась: уж не отступают ли наши, да и не придут ли опять немцы!

Был поздний вечер, грузовики въехали прямо в вишенник, и солдаты тотчас улеглись спать.

Хуторок затих, будто и не было тут никого. Мать хотела подойти, поговорить, но хозяйка не пустила:

- Что ты, Нюша! Ты молодая... мало ли чего...

Всю ночь, рассказывает мать, просидела она без сна. Рано утром вышла из дому и услышала... не бог весть что, но такое, отчего тотчас слезы навернулись

на глаза:

- На рассвете, уж слышу, голос там: «Ваньк! Ваньк! Вставай, поехали...» И так мне было это радостно, что и сказать не могу.

Теперь уже наши войска шли по большаку, с песнями про Катюшу, с говорком. Ночевали они возле дороги, под открытым небом.

Вот эта картина в моей памяти: наши солдаты щиплют в вишеннике ягоды, стоя в кузове грузовика, стреляют в меня вишневыми косточками, что-то спрашивают. А в душе моей детское ликование: русские пришли!.. мы скоро поедem домой, в Россию...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

- 1 -

Одно только стремление владело всеми помыслами матери да и моими тоже: как можно скорее отправиться домой. Это ничего, что нашего дома на Десятинной улице уже нет, и город наш тоже весь разрушен и выгорел – все-таки своя земля, и воздух, и небо, значит, родное место, которому ты и предназначен, а там уж не дадут пропасть.

Хозяева хутора – дядя Антон и тетя Маня – уговаривали:

- Ньюша, не спеши уезжать, поживи у нас. Россия вся разбита, разрушена, там голодно. А тут все-таки крыша над головой, есть хлеба кусок и тебе, и твоим детям. Оставайся: вот устроится все, уладится, тогда и поедешь.

То же самое говорили беженцам и новые власти, то есть военные, в ведении которых было мирное население: погодите, мол, пока нет возможности отправить вас; еще фронт-то недалеко ушел, в недобрый час под бомбежку попадете.

Но ничто не могло остановить нашу мать и нас, пристававших к ней: «Скоро ли мы поедem в Россию?». Это еще детское ощущение несчастья оттого, что ты вне Родины, имя которой «Россия», постиглось моей детской душой отнюдь не как отвлеченное понятие.

Не только мы, но и все беженцы были настойчивы и неотступны – это, ведь, в основном, женщины с детьми, и они не успокаивались как их ни уговаривали; каждая приходила со своей бедой, со слезами и мольбами к нашим военным, а те ругались, утешали, обещали: «Погодите, вот построим узкоколейку и отправим вас»

Почему-то именно в некую узкоколейку упиралось дело. Люба и моя мать упрашивали нашего офицера, чтоб позволил им послать домой письма своим родным, то есть воспользоваться военной полевой почтой, поскольку обычная еще не действовала. На-

чальник им этого не разрешил, но сделал любезность: послал от своего имени письмо моей бабушке в деревню Хонино: мол, уважаемая Прасковья Ивановна, ваша дочь Ньюша с вашими внуками находится в настоящее время в Литве, они живы-здоровы, не беспокойтесь. По-видимому, так. Правда, потом оказалось, моя бабушка ничего не поняла из этого письма. То ли написано было невнятно, то ли испорчено помарками военной цензуры, то ли по другой причине, но оно не вызвало ничего, кроме недоумения и обиды. Какая Литва? С чего это Ньюша окажется там? Кто такие глупости пишет?

- Грех так шутить, - сердилась бабушка. – Бог накажет...

Между тем Люба со своими девочками Валеи и Люсей, с которыми мы дружили, перебрались на наш хутор, поскольку он при большой дороге, - стало еще веселей.

«прошло две недели офицер говорит нам, у нас завтра едет машина горот медветь и мы можем вас отправить туда а мы ради только бы подальше от фронта...»

Что это за город «медветь», я сколько ни ползал пальцем по карте Литвы, не нашел: небось, это переименованное на русский манер литовское название.

У нас уже все было увязано, собрано, осталось только помолиться на дорогу да попрощаться с хозяевами. Что мы и сделали.

Так началась наша одиссея – путешествие с запада на восток по разрушенным, едва наведенным железным дорогам, забитым воинскими эшелонами.

Тут я сделаю небольшое отступление.

Много лет спустя, а именно в 1997 году я получил из Литвы письмо... Это был ответ на мой запрос туда: мне необходимо было выяснить, где же именно находились мы в Литве, и как теперь проживают те люди, приютившие нас в военном 44-м году. Вот оно, это письмо:

«Здравствуйте,

Вам пишет дочь Александра Римкуса, которая живет в том месте, где ваша мать и вы находились в годы войны. Эта деревня называется Жилакиа.

Мой дедушка Антанас умер в 1954 г, бабушка Марциона умерла в 1985 г. отец мой Александрас погиб в автомобильной катастрофе 1976 году. Дед Виктор был на войне, раненный под Берлином, умер 1995 году. Тетя Броня была в сибире ссылке 1948-1961 г. еще жива, долька договориться с нею трудно. Её дочь Броня умерла 7 лет менингитом. Сейчас в этом хуторе Жилакей живу я семьей и моя мама, жена Александра, в годы войны проживавшая полкилометров от дома Римкуса. Она была в 1944 году 16 лет и все хорошо помнит. О вас помнит и наша соседка Каждайлене Зосе, которой сейчас 87 лет. Я тоже помню как моя бабушка нам рассказывала о женищи-

не с маленькими мальчишками которые были у нас в годы войны.

Напишите нам

Тересе Рагуцкене

ЛИТВА, Шяуляйский р-он, п.о. Пакапе, дер. Жилакей.

Таков был расклад судеб...

- 2 -

«надругой день нас отправили вгору медветь а там все разбито было но шалон стоял уже была праведена уская калейка анас русских было очен много и нас всех посадили на открытые плащатки и повезли дальше

нас и дождик мочил но сё равно была радас вот узнаю про мужа довели нас доболагова...»

Трудности нашего продвижения были в немалой степени от того, что при каждой остановке, которые случались то и дело, невозможно было узнать ее причины; никто не мог сказать, когда и куда отправится тот или иной поезд. Вагоны с беженцами могли отцепить на любой станции, загнать в тупик и стой там сутки и больше, и неведомо, когда прицепят. На остановках страшно было отойти от своего состава, поскольку он каждую минуту мог тронуться; между тем состав этот простаивал часами.

Подчас мы садились наугад на какой-нибудь по-

езд под великим страхом и при полной беспорядице. Питались кое-чем, пили воду какую придется, умывались редко, а что касается обычных человеческих нужд, то с ними и вовсе горе.

В Бологое добрались через три недели, а там на вокзале прожили неделю или даже две. Здесь мы расстались с Любой и ее девчонками Валею и Люсей; я показал на прощанье своей «невесте» язык, она погрозила мне кулачком.

- Поедем со мной в Новгород, - жарко уговаривала мою мать эта Люба. – Где-нибудь приткнемся, авось не пропадем. Поедем! Ведь должны же власти как-то позаботиться о нас, беженках. Не дадут пропасть.

Но матерью руководил не житейский расчет, где удобнее поселиться да легче прожить, а горячее желание поскорее узнать что-нибудь о муже. Наверное, он пишет в деревню Ремнево, думала она, а если пишет, то уж, небось, и распорядился о своей семье, как ей быть; в зависимости от этого можно принимать то или иное решение: оставаться ли у свекрови, возвращаться ли на свое пепелище в Новгород. Сначала все-таки самое главное – узнать, что с Василием Федорычем. Вот это стремление и толкало мою мать на родину. Это было ей настолько важно, что заслонило все остальное.

«я узнала намоей родине немцы небыли», - пишет она, и я догадываюсь, что эта добрая весть косвенным

образом укрепляла надежду на то, что мой отец жив.

До сих пор мы не имели никаких оснований думать, что его нет в живых – никаких, кроме одного: шла война. Но ведь не всех же солдат на войне убивают! И почему это, скажите-ка, именно мой отец должен погибнуть? С какой это стати именно ему выпадет смертный жребий? За что? Чем он прогневал Бога, которому мы так жарко молились?

Нет, пожалуй, я неверно написал, будто Люба уехала из Бологое первой: наоборот, мы уехали, а она осталась ждать поезда в Новгород. Между прочим, тут случилась у нее неожиданная встреча: в Бологое остановился очередной воинский состав, солдат с котелком побежал от него к водокачке, а ему вслед товарищи крикнули:

- Красавин, поживей! Сейчас отъезжаем!

Крик этот и услышала Люба. Она остановила солдата:

- Вы – Красавин?

- Да.

- Только что ваша жена с детьми уехала в Сонково. Вот сейчас я с ними простилась.

- Какая жена? – растерялся солдат. – Я неженат.

- Вы Василий Красавин?

- Нет. Я – Дмитрий. А Василий – мой старший брат.

- Ньюша с детишками Витей и Юрой только что была здесь, пробирается в Калязин... Мы вместе еха-

ли из Литвы, нас туда из Новгорода эвакуировали.

Дмитрий ехал на фронт, где вскоре был ранен в ногу, долго лежал в госпитале и вернулся домой уже после войны калекой.

Но это было потом, а пока что он был здоров, прытко бежал к водокачке, а мы ехали в сторону Сонково с остановками, с приключениями... На какой-то станции сели на товарняк, на открытую платформу, он уже тронулся, а человек в железнодорожной фуражке закричал нам, что поезд идет не туда, куда нам надо... Помню, мать спихнула нас с Витькой под откос, потом сбрасывала один за другим узлы, после чего уж спрыгнула сама, когда поезд уже набрал ход. Узлы наши были разбросаны далеко друг от друга, собирали их в спешке, со страхом: все ли налицо или что-то потеряли.

В Бежецке на вокзале нас обсели со всех сторон цыгане; мать стерегла вещи, опасаясь, не обокрали бы! Она разместила нас по узлам таким образом, чтоб мы ногами и руками «придерживали» наше добришко. Но две цыганки рядом с нами затеяли сначала яростную перебранку, потом стали драться, таская друг дружку за волосы, мы зазевались, в результате чего самый большой узел у нас вспороли и выпотрошили. Исчезла большая теплая шаль, платье, жакетка, кое-что из детской одежды. Мать подняла было шум, но цыгане снялись с места и всей компанией удалились – ищи-свищи. Этак, что же, просидишь еще

неделю-другую – кругом оберут!

- Прошу на товарный поезд, плачу, - рассказывала далее мать, - а нас не сажают: нельзя, и всё. Я говорю: разве не видите, я беженка, из Литвы еду, немцы загнали туда, у меня маленькие дети, мы не евши, не пивши, не спавши. А начальник поезда или охранник он, пёс его знает, в красной фуражке, и слушать не хочет. Вы тут же стоите, плачете – а он ни в какую. Тут подходит офицер с солдатами, останавливается, спрашивает: что такое? Я ему объясняю: так, мол, и так... А он как начал строжить этого, который в красной-то фуражке: ты, говорит, что? не видишь, женщина с детишками, ей до дому добраться надо? Не мы ли с тобой виноваты, что она там оказалась? И посадил меня, и поехали мы.

- 3 -

В Калязин мы приехали поздно вечером, ночевали на вокзале. Я думаю, это была для моей матери уже отрадная ночь: она добралась до родных мест. Самое страшное позади, она осталась жива и сохранила детей. Даже кое-что из вещей сберегла, вот они два лисяка, драповое мужское полупальто, костюм отца, ее фетровые сапожки, плюшевая жакетка...

Спала ли мать в ту последнюю вокзальную ночь? Если спала, то уж конечно сон был чуток из-за тревоги и надежды – какую весть о муже принесет ей

наступающий день? Война еще продолжалась, но для нас она кончилась здесь, на калязинском вокзале.

Калязин – городок тихий настолько, словно и не было нигде никакой войны. Рано утром мать сходила на базар, надеясь увидеть там знакомых. Но нет, никто из ремневских или хонинских туда не приехал. На базаре она купила нам по дольке картофеля, и мы отправились пешком по большаку. Попутных машин не было, да и подвод тоже.

Этот путь я потом измерил шагами многожды, но в первый-то раз – в шестилетнем возрасте, и это было нелегко: семнадцать километров – шутка ли! Через поле, через Черный лес... через деревни...

В Черном лесу на большаке мы встретили Катю Смирнову, соседку бабушки Орины Сергеевны. Катя шла в Калязин, она училась там в техникуме, где и мне потом предстояло учиться; от нее мы и узнали...

«навстречу попала сосетка я ее спрашиваю пишет ли письма вся моя а она говорит писем от него нет он в первом году погиб и я заплакала обняла своих детей куда мы едем бабушка нам не рада будет а дети мои устали мамочка давай посидим а у меня и самой ноги подкашиваются нейдут вся радость улетила сыночки мои надо бы нам ехать вновгород...»

До сих пор мать жалеет, как о более разумном решении, как об упущенной возможности:

- Надо было ехать с Любой... Она меня так уговаривала! Ведь там все-таки свой дом; хоть он и сгорел,

но от нижнего этажа что-то осталось, нижний-то этаж был каменный! Вот бы крышу навести да и жить. А так, что же, угодила в колхоз... как в яму. Наша жиличка, что до войны на нижнем этаже у нас квартировала, сделала как раз умно: крышу навела кое из чего да и стала хозяйкой. А ведь у меня были все права на дом, я сберегла документы-то! Всю войну за пазухой носила!..

Забегая вперед, скажу, что, года два спустя, мать съездила в Новгород «похлопотать о доме».

- Я просилась у жилички: пусти нас, у меня дети. Хоть уголок бы мне где приткнуться. А она ни в какую. И слушать не хотела. Конечно, надо бы в суд подать, авось что-нибудь нам присудили бы. Может, пополам владели бы. Да ведь это же не вдруг – суд-то. Надо там жить, а из Ремнева в Новгород разве не ездишься! Я пошла, помню, в милицию на прием к начальнику. В приемной у него долго сидела, просителей много, взошла к нему, рассказываю: так и так, мужа потеряла, дом сгорел, сама в плен попала... А у самой слезы-то, слезы-то, едва слова выговариваю. А он как закричит на меня: говори, мол, толком, некогда мне! Так и ушла от него ни с чем, заревела в голос да и ушла...

Мы расстались с Катей и побрели дальше, усталые, голодные, убитые горькой вестью.

Если правда, что души умерших обитают на небесах, то уверен я, что душа отца моего витала в эти

минуты над нами, бредущими в его деревню после долгих странствий, и уж конечно страдала.

Мы прошли деревни Носатово, Якимовскую, Василёво... Все ближе, ближе было Ремнево. Вот уже миновали и Пряжино, отсюда до желанной цели нашего путешествия рукой подать, два километра, не более. Ремнево было уже видно за низкорослым лесочком с названием Яменник. Здесь мы услышали «звонок» – удары по рельсу: по времени был конец обеденного перерыва. Помнится, этот звон радостно озадачил и насторожил меня: мы вступали в мир, в котором нам предстояло жить.

В деревню мы вошли – как раз возле дома Красавиных собрались колхозники перед тем, как отправиться на работу. Они сидели и стояли, оживленно переговариваясь, и замолчали, вдруг увидев нас. Бабушка Орина выходила из огорода...

Большое стадо гусей, потревоженных нами на деревенской улице, загготало, и гусак разгневанно зашипел, пошел на меня в атаку – я проворно спрятался за мать. Гуси эти отвлекли мое внимание, и я не помню первых возгласов, которыми встретили нас те, что собрались у дома бабушки.

Но помню далее, как все смотрели на нас, и то ли бабушка Орина, то ли Ванюшка, мой семнадцатилетний дядя, младший брат моего отца, вынесли нам с Витькой по большой доле ватрухи.

«взошли вдеревню подходим к дому а мамаша

идет изогорода и тут мы встретилис и обе плачем столько лет невиделис я спрашиваю провасю а она мне гаворит давно от нево писем нету...»

- Тут у меня что-то с голосом случилось. Насо- всем пропал голос, и все тут! Только шепотом да с хрипом могла говорить.

Она была так разбита усталостью да переживаниями, что не было у нее сил дойти в Хонино повидаться со своей матерью и братом. Долгое напряжение, державшее ее, как обручем, теперь отпустило и совершенно опустошило, обессилило.

- На другой день Главдея Рыбина, помню, собралась зачем-то в Хонино, видит, что сама-то я идти не могу: давай, говорит, Нюша, я ребят твоих прихвачу с собой: надо же показать внуков бабушке Прасковье. Вот она вас и отвела.

Но и бабушка Прасковья, и материн брат Иван Степаныч не поспешили прийти в Ремнево. Это обстоятельство, признаюсь, несколько озадачивает меня, впрочем, что тут удивительного! Ведь бабушка Прасковья часто болела, а дядя Ваня... он был председателем колхоза в Плуткове, ему, вишь, некогда было.

- 4 -

Вечером, когда уже улеглись в постель, мы во всей полноте осознали тишину и покой: ну, скрипнет ворот колодца или калитка чья-то; ну, взмыкнет коро-

ва во дворе или ворохнется курица на нашести; ну, ворчливо переговариваются грачи на вершинах тополей, усаживаясь на ночлег, - все эти звуки кратковременны, они сугубо мирные, потому успокаивали и навевали сладкий сон.

Не могу вспомнить, слышал ли я в ту ночь перепелиное «спать-пора» или скрип коростеля – ведь было уже начало сентября! Но ныне мне так хочется, чтоб того мальчика, жившего под страхом несколько лет, наголодавшегося, нахолодавшегося, трепаного малярией, с болячками на коленях и локтях, чтоб его перепелочка убаюкала, и коростель ему покричал.

Мне жалко того мальчика и хочется приласкать его. Я испытываю к нему нежность вовсе не потому, что это я сам, а словно бы это мой сын... или внук.

Здесь, на сцене возвращения из Литвы, кончаются записи в тетрасточке под названием «Моя жись». Сразу вслед за кратким описанием встречи со свекровью – завершающая труд фраза:

«Я сё ждала так и недождалас мово любимова мужа всю жись мучилас ростила детей».

Тут поставлена крепкая точка.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ, ПОСЛЕВОЕННАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

-1-

Надо было начинать жизнь заново. А молодость уже позади, давил груз страшной усталости, жесточких разочарований, к тому же она обременена была двумя малолетними детьми, которых надо поднимать на ноги.

Ей предложили вступить в колхоз, но она отказалась: на работу, мол, ходить буду, но я не колхозница. Это дела не меняло: её послали на лесоразработки.

В то время у каждого колхоза, помимо основного предназначения, были еще и разнообразные повинности: чинить дороги, заготавливать дрова для города... В начале зимы деревня Ремнево должна была послать в далекое лесное село Большое Михайловское – это в сторону Сергиева Посада – двух человек на лесозаготовки. На колхозном собрании при большом крике решали, кого именно послать.

- Да Нюшку Воронину, кого же еще! – кричали на собрании. – Она в плену была.

Кто бы ни попал в плен, это отнюдь не украшало его биографию, будь то маленькие дети или женщины, на них лежало несмываемое клеймо – это давало основание председателю колхоза или сельсовета, выбивавшим налоги, стучать кулаком по столу и говорить грозно, то есть строжить, по выражению матери:

- Не забывай: ты в плену была!

- Да что же я, по своей охоте туда угодила?

- А уж этого я не знаю. Говори спасибо, что тебя за это не осудили да не посадили.

И другой грех числился за нею: в свое время уехала ведь из колхоза в город. Уехала, как убежала! Старая зависть оборачивалась теперь злорадной местью.

Вообще, надо сказать, мое романтическое восприятие деревни скрадывает многие неприглядные детали. Мне не хочется писать о них, но ради истины не погрешить бы.

Деревня завистлива – она не дает никому выделиться ни честью, ни богатством. А если кому-то удалось это, значит, уступили перед силой; значит, несмотря ни на что, он «выбился в люди», стал «начальником». Но избави Бог ему поскользнуться и упасть – всю жизнь будут шпынять и злорадствовать: то-то, брат, а высоко сидел!

Деревня злопамятна. Она попрекает тебя и успехом твоим, и грехом твоим даже столетней давности.

Деревня жестока, насмешлива, глумлива, отнюдь

не склонна к жалости, исповедуя правило: падающего толкни. У нее свои изгои, которых она преследует, не считаясь ни с чем.

Увы, это так.

Мы не были изгоями, мы временно ослабели, потому нас и толкали: страдания, выпавшие на долю моей матери, были ей же поставлены в укор и в конечном итоге отнюдь не пробудили ни сочувствия, ни жалости.

- 2 -

Бабушка Орина не сумела защитить на собрании приехавшую из немецкого плена невестку. Вернувшись с собрания того, сказала, что-де громче всех кричала там лучшая мать подруга Шура Лебедева; именно она требовала послать на лесоразработки Нюшу Воронину, и в этом была для матери моей особая обида.

Ну, о Шуре разговор отдельный. Я уже сказал ранее, что они выросли вместе и всегда соперничали. Мать иногда сетовала не без зависти:

- Ей всю жизнь везло! Она и замуж-то вышла – у нее свекровь ласковая была. Бывало зайдешь к ним, а свекровушка ей: да поешь ты, поешь! Так и хлопочет вокруг нее. Это я боялась лишний кусок съесть, а Шура-то попала в ту семью, как мышь в крупу.

Теперь вот муж Шуры Василий вернулся с фрон-

та, и это было лишним подтверждением ее постоянного «везения».

- Хоть и больной, а все мужик. А с мужем ли не жить! Он и по дому – больной-больной, а все делал! Он и в колхозе-то кладовщиком, то бригадиром; Шура бывало, на косьбе вместе с нами, а еёный Василей явится, косу ей отобьёт прямо там, на лугу. Мы-то неотбитыми махаем, у нас тупые они, а Шуре, знамо, полегче. Мы до хрипу, у нас язык на сторону, а она барыней. Ей ли не счастье!

В давнем их соперничестве (сначала куклами, потом ухажерами, потом и мужьями) Шура теперь одержала верх.

Благополучная судьба подруги детства была источником всегдашней зависти для моей матери и темой ее постоянных сетований: «Шуре-то чего не жить, у нее Василий...» Всякий знак внимания, оказанный Шуре мужем, отзывался болью в сердце каждой вдовы и моей матери тоже. Виноватым тут оказывался, между прочим, мой отец.

- Так-то больно просто, - досадовала она на него. – Подставил грудь свою под пулю да и лег в могилу. А ты, бабенка, как хошь, так и рости детей. Другие-то мужики вернулись, женам своим помощники да советчики, а мой...

И на глаза ее навертывались слезы. Они и только они служили ей утешением.

Итак, мать уехала на лесоразработки в Большое

Михайловское.

- С утра до вечера пилили лес, - вспоминала она потом. - Зима уж наступила, мороз лютой, а мы одеты-то как! Ни рукавиц, ничего – мучение сплошное. Елку-то подпилим, а она заденет за соседние и никак не валится. Уж мы бьемся-бьемся... А надо было напилить столько-то кубометров. Бригадир – или кто он там? – придет, смеряет и еще велит пилить. А ить голодные! Поесть-то нечего: из дому взяли картошечки – ну, кое-как сварим или в костре испечем. На ночлег – в избу. А там что – на полу соломки постеляют, ну и спим, не раздеваясь. На нас мокрое все – ить весь день в снегу по пояс работали! Так и маялись.

Маялись, кстати сказать, не один день и не одну неделю, а месяца полтора. Чем же отличалась эта работа от той, когда гоняли из Лешина под немецким конвоем? Вот разве что этим – конвоем...

- 3 -

Естественно, самым заветным, самым горячим желанием моей матери было купить дом и опять стать хозяйкой. Уж не до того, чтоб владеть двухэтажной хороминой – низ каменный, верх деревянный – а пусть это будет хотя бы халупка, даже ветхая, лишь бы только она была своя и только своя, чтоб мы в ней обитали не на правах квартирантов.

И вот прожив у бабушки Орины два года и со-

брав оставшиеся крохи прежнего, еще новгородского капитала, подзаяв деньжонок у брата Ивана Степановича, мать купила в Ремневе избушку Ивана Марьяна, перебравшегося в дом получше. Не купила, а, как сама говорила, *огоревала*. Больше всего, между прочим, радовалась тому, что в избушке той печь была изразцовая, и именно имея в виду это, цену назначили повыше, чем того стоила изба. Когда же купчую совершили, Иван Марьян выломал изразцы и ночью перетаскал их к себе, после чего заявил, что никакой договоренности об изразцах при покупке не было, а напротив, он имеет на них полное право. Ну, что же, опять заплакала мать, да и смирилась: не судиться же было с этим бессовестным мужиком!

Так начался тот период в нашей жизни, который обозначен в семейных воспоминаниях словами «когда мы жили в маленькой избушке».

То была именно избушка, от старости вросшая в землю почти по самые окна, с хилым тесовым крылечком, под соломенной крышей. Через подоконники можно было перешагивать, как через порог двери; ворота двора уже не открывались; в соломе кровли гнездились воробьи и галки, на ней зеленела травка; в дожди нас заливало – помню расставленные там и сям миски да плошки, в которые капала с потолка вода. А не успеешь подставить – спи на мокрой постели.

- Плохонькая избушка, да, - светлея лицом, вспоминает мать теперь, много лет спустя. – Но все-таки

свое гнездо; как ни кинь, а ты в нем сама себе хозяйка.

Половину жилой избы занимала печь; в красном углу стоял скобленный стол, лавки вдоль стен источены жуком-древоточцем; в заднем углу возле двери кровать с ситцевым пологом... Пол в сенях круто покосился... чтоб пройти по нему от двери в избу, приходилось упираться правой рукой в стену; зимой, когда несешь ведро воды из колодца – обязательно плеснешь, и сени превращались в каток.

Но перед моими глазами ныне сквозь дымку времени виден милый облик этого дома – на подоконниках герань в дырявых горшках и чугунках; завалинка, на которой хорошо было посидеть; перед фасадом черемуха с мелкими и очень сладкими ягодами, а возле черемухи лежал плоский гранитный камень – на нем и мастерить что-нибудь удобно, и просто посидеть.

Так вот, мы купили дом, в котором стали хозяевами. Потому мать и вздыхает с отрадой.

- Мы там хорошо зажили!

А услужливая память извлекает давнее: изба так осела, что пол лег на землю, и для хранения картошки пришлось выкопать яму, предварительно вынув несколько половиц; стену, обращенную к соседям Офросиньиным, мать промазала «для тепла» глиной, и косяки окон по фасаду тоже – получилось неприглядно, неказисто, но что делать, мера вынужденная.

Избушка эта напоминала мне нашу скрюченную от болезней и старости бабушку Прасковью – так

похилилась, что с одной стороны пришлось ее подпереть бревнышками, чтоб не упала сама собой или чтоб ее не повалило ветром.

На зиму все избы в деревне Ремнево одевали в соломенную *пелёду* – тоже для тепла. Делали это так: вдоль стены на расстоянии примерно в локоть втыкали в землю высокие, до застрехи, колья и посередине укрепляли их поперечными жердями; в это пространство меж кольями и стеной плотно набивали солому. Работу эту мы обычно совершали втроем: мать напихивала охапки соломы, а мы с Витькой утаптывали, втиснувшись за колья у стены. Избушка наша таким образом становилась как бы одетой в соломенную шубу – это и называлось «запеледить» её; окошки при этом уменьшались, в жильё становилось темновато, зато теплее и уютнее.

Теперь представьте себе нашу избушку в соломенной *пелёде*, с соломенной крышей, с прикладком соломы на задворках...

Одно из частых воспоминаний нашей матери о той поре – это как однажды зимой, придя с работы, она застала нас с братом спящими на печи, а коптилочка, при свете которой мы читали, оказалась на самом-самом краешке – просто чудо, что она еще стояла! Если бы кто-то из нас, спящих, подтолкнул ее чуть-чуть – быть бы пожару! Сгорело бы наше жалкое и родное прибежище, сгорело бы жарко и скоротечно, как стожок соломы.

Мать очень живо могла представить себе, как стоит перед дымящимися головешками – при мысли об этом ей страшно и теперь, много лет спустя. Мы с братом тоже помним этот случай, поскольку нам обоим в тот вечер крепко влетело, но страх матери мы тогда понимали не в полной мере, потому суровость наказания сочли излишней.

Ничего не осталось теперь ни от той избушки с теплой печкой и покатыми сенями, ни от черемухи с мелкими, но сладкими ягодами. А вот камень-валунок лежит на том же месте по сию пору, свидетельствуя неопровержимо, что некогда бывшее все-таки было, а не приснилось мне.

ГЛАВА ВТОРАЯ

- 1 -

Раз в году у нас собирался праздничный стол, это бывало в наш престольный праздник 19 августа Преображение Господне. В этот день стол ломился от лакомых яств, от которых у меня прямо-таки захватывало дух – куриная лапша, крупеник, манник, сладкий суп (компот), кисель, ватруха с творогом, пироги с луком и яйцом... а в иной год и студень.

Я ждал этого праздника с тем же нетерпением, с

каким «ждет любовник молодой минуты верного свиданья». За несколько дней до Преображенья мать шла в Хонино приглашать в гости *братчика* и *сестричку*.

В праздник с утра мы уж то и дело поглядывали в окно: кто-то идет по дороге от Хонина, не они ли? Но Иван Степаныч сначала, естественно, у себя за столом поспрадует, потом в своей деревне у него женщиной родни доволна, а потом уж отправлялся к нам в Ремнево. Мы издали видели: идет Иван Степаныч пьяным пьянхонек с кем-то в обнимку, то ли поют, то ли жарко спорят. Мать кидалась собирать на стол, боясь, как бы кто-нибудь из ремневской родни (хоть бы те же Лебедевы) не перехватили ее гостя. Уведут, усадят за стол – не дозовешься потом. А что за праздник без *братчика*! Перед кем же тогда и выхвалиться кушаньями: у нас не хуже, чем у людей.

Она выходила на крыльцо встречать:

- Братчик! А я уж жду-жду... Ну, думаю, загулял, забыл.

- Нюшк! Сестрэнк! – говорил «братчик», обнимая её. – Я тебя не обойду... Ты у меня, сестрэнка, одна...

Гости входили в дом, садились за наш праздничный стол, и вот тут я приступал к пиршеству – под звон их стаканов, под песни «Хаз-Булат удалой» и «Когда б имел золотые горы». Пели и любимую материну, под которую она непременно плакала:

*На Муромской дорожке
Стояли три сосны.
Прощался со мной милый
До будущей весны.*

- 2 -

При жестокой экономии благосостояние наше год от года повышалось; мать расплатилась с долгами и даже купила козу.

Никто в Ремневе, кроме нас, козу не держал, и в этом было свидетельство нашей бедности, больно ранившее мое самолюбие, как жоака ремневских мальчишек – ведь коза все-таки не корова! Но теперь на столе у нас ежедневно появлялась криночка молока, смирявшая мою гордость.

Зимой эта коза принесла нам двух козлят, которые до весны жили под голбцем; вместе с козой. То были веселые и изобретательные козлята; они немало веселили нас. Не доглядишь – скачут по всей избе; а летом, когда открыли окна, тут уж и вовсе было им раздолье – они вспрыгивали на голбец, с голбца на печь, с печи на залавок, да через окно на поленницу, оттуда на крышу... Бодрый топоток постоянно раздавался от их резвых игр.

- Прожили мы в той избенке лет семь, а в пятьдесят третьем году надумал Макарей Бугрецов уехать в другую деревню – вот тут у меня зуб-то и разгорелся

на его дом.

И вот наша маленькая избушка уже продана, мать живет у Ворониных в Хонине, ожидая, когда Бугрецов Макарий освободит дом. Купчая оформлена и деньги выплачены, то-есть все решилось, мы обрели иное жильё.

Покупка того или иного дома и поныне любимейшие ее рассказы.

- Сторговались мы, помню, за пять тыщ – это на старые деньги. Козочка у нас была – отвела я ее на базар, а домик свой продала на дрова; еще я овечку держала с двумя ягнятами, и их продала, да у братчика маленько подзаняла деньжонок, вот и купила бугрецовский-то дом. Уж так я радовалась!

Еще бы не радоваться: это был хороший дом – высокий, с просторными сенями, с горницей, с парадным и черным ходом; окошки большие, крыша драчная, еще крепкая, не протекала, поместительный двор с сенником. А уж какая подклеть – там и теленка бы держать, и поросенка, и овец... но ничего этого у нас не было, потому двор пустовал.

Дом стоял на краю деревни; из окон видно было Хонино, низинка, по которой тек Ир, и овсяниковская горка с одиноким сараем – единственное, что осталось от деревни Овсяниково. По весне из низинки доносилось хорое кванье лягушек, к самому крыльцу подступали купальницы; в грибные годы в палисаднике под березами вырастали подберезовики,

а то и подосиновики.

Так и стоит он у меня сейчас перед глазами, этот дом, - весь целиком, со всеми своими внутренними помещениями; я снова и снова открываю входную дверь с парадного крыльца попадаю в сени; тут в полутьме лестница на чердак, налево дверь в горницу, имевшую кованый замок и ключ величиной в локоть, а направо дверь в избу. Как войдешь – печь с одной стороны, с другой отдельная комната – спальня, а еще передняя и кухня; на окошках непременно и милая сердцу герань...

- Хороший дом, только холодноват был, - качает головой мать. – Зимой, бывало, такой померзень стоит, хоть из избы не вылезай.

Что верно, то верно: зимой пока печку топим, потуда и тепло. А полчаса спустя, накидываешь на плечи пальто, и пар изо рта уже заметен.

- Так надо было русскую печь топить пожарче! – подсказываю я, вспоминая, как скупно, взвешивая на руке каждое поленце, подкладывала мать дрова.

А печь была большая, её нагреть непросто.

- Где их возьмешь, дрова-то? – тотчас вскидывается бывшая хозяйка того бывшего дома. – Вспомни-ка: в лесу дерево не срубишь – штрафу дадут. Возили хворост-ольшняк из Гулинкова, а что та ольха? Даже от толстых палок углей не оставалось. Самовар согреть – роешься-роешься в жаратке – нет ни уголька, одна зола.

Ольшняк мы возили каждый год в марте по насту. До Гулинкова километра полтора; в чистом поле наст бывал крепкий, а в лесу проваливаешься по пояс. Вытащить груженные санки из леса на дорогу – эх, все равно что бегемота из болота. Мать в трудовом азарте накладывала много – ничего, мол, вывезем! – ну и выбивались из сил там, в лесу, пытаюсь стронуться с места; потом сбрасывали лишнее, при этом она ругалась со слезами; опять пытались и опять никак – развязывали воз и снова немного отбавляли. Тянули санки по дороге – мать коренником, мы с братцем пристяжными...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

- 1 -

Не там ли, не в Гулинкове ли, мать заработала себе грыжу? Как с нею маялась! Пришлось ложиться в больницу – делали операцию; первый шов остался на животе и, увы, не последний. Впрочем, почему именно ольшняк в этом виноват? Разве легче было поднимать на вилах охапки спутанного или слежавшегося клеверу? Или мешки с зерном да льняным семенем. А ведь и их поднимала да таскала. Или не косила она тот же клевер полеглий да тупой косой? Да мало ли тяжелой работы в колхозе!..

Летом проснется среди ночи и качается, сидя на постели, и колотит руками о колени – так у нее болели руки! Колотит и приговаривает со стоном:

- Ой, что же делать-то!.. Разломило мои рученьки – хоть на крик кричи... И в плечо отдает... Сил нет терпеть!

Днем разомнется, разработается – вроде, ничего; а ночью опять стоны, опять колотит руками и о колени, и о край постели.

В ту пору она часто болела, и зимой, и летом: то схватывал, стигбал в дугу радикулит; то снова и снова навещала ангина; но чаще прочих болезней ее мучила печень. Приступы один за другим сваливали мою бедную мать, и она не могла ни есть (соленого нельзя, жирного нельзя, острого нельзя), ни пить, ни встать с постели. И в больнице лежала, и лечилась домашними средствами – ничего не помогало. Решила съездить в Москву – дело было, кажется, в пятьдесят пятом году. В Подмосковье, на станции Монино, жила моя крестная, Маруся, отцова сестра; вот она сопровождала мою мать к какому-то московскому профессору.

- Я опосля говорю Марусе: иди, спроси у него, сколько я еще протяну. Мне-то он правды не скажет, а от тебя ему что скрывать! Маруся сходила да и не говорит мне ничего. Уж я ее упросила, и она призналась, что врач сказал: лет пять, мол, еще проживет эта больная, но не больше. Уж как я обрадовалась: пять лет! Я-то думала, что рак у меня, дай Бог хоть полго-

да протянуть, а тут эва сколько! У меня Витя в техникуме учился – за пять-то лет он его закончит, небось, на ноги встанет.

То ли профессор ошибся в том пятьдесят пятом году, то ли Маруся соврала про этот срок – пять лет – ныне вот девяносто первый год, а мать бодра; во всяком случае гораздо бодрее, чем тогда.

Я так ныне думаю: лекарства от тех ее болезней просты – хорошее питание да работу полегче. Но и то, и другое было для моей матери тогда недостижимой роскошью.

Во время очередного тяжелого приступа, несмотря на пятилетний, обещанный ей срок, она всякий раз была уверена, что умирает, оставляя нас с братом круглыми сиротами. Но едва только ей становилось чуть-чуть получше, еще будучи не в состоянии чего-нибудь поесть, она уже выходила на работу: боялась, что заподозрят в притворстве или лени.

- Знамо, под страхом жили, - говорит она нынче, рассказывая о военном ли времени, о послевоенном ли.

- 2 -

Откуда же этот страх? А вот откуда.

Сегодня, оглядываясь назад и не принимая во внимание ни штрафов, ни угроз, ни бригадирского или председательского матерного лая, пробую сосчи-

тать, сколько в нашей деревне Ремнево пересажали народу за полтора десятка послевоенных лет:

Хромого Митрия Приезжего (Соколова) – за колоски, так и погиб где-то в лагерях;

Безрукого Ивана Муравьева (он вернулся с войны с вырванной из плеча рукой, а дома детей четверо) – за валяние валенок осудили на четыре года, отбыл от звонка до звонка;

Двух женщин, имен не называю – за то, что в голодном сорок седьмом ночью прорыли в колхозном бурте норку и палочкой выкатывали по картошинке, чтоб хватило в чугушке сварить;

Трех женщин, имен опять не называю из милосердия к ним – «за антисоветскую пропаганду»: беспутную девку из соседней деревни постегали крапивой, а трусы ее воздели на кол и понесли, как флаг, распевая «Вставай, проклятьем заклейменный»;

Еще несколько вдов, точного числа их за давностью времени назвать не могу – за валяние валенок.

Не много ли осужденных для одной только деревни за полтора десятка лет? А разве наше Ремнево было какое-то особенное? Нет, и в других деревнях так же – эта страшная «жатва» собиралась со всех деревень. Как в сказке про «идолище поганое», пожирившее людей, от которого не было спасения.

Как там у Радищева?.. «Страшись, помещик жестокосердный, на челе каждого из твоих крестьян вижу твое осуждение».

Неведомый и безликий «помещик» не страшился – страшились его подданные.

Ничего не стоило держать в страхе кого бы то ни было; рядовой колхозник боялся председателя, председатель трепетал перед секретарем райкома, тот, в свою очередь, перед кем повыше. А над простым крестьянином были еще грозные фигуры уполномоченного, милиционера, прокурора, судьи, заведующего неведомым отделом, инспектора, директора, инструктора, следователя – любой из них, появившись он в деревне, одним только наименованием должности своей внушал трепет. Никто не был застрахован от карающей десницы жестокосердного государства, и отсутствие вины не избавляло от тюрьмы.

Председателем нашего колхоза в пятидесятых годах был человек по фамилии Мухин, присланный из города. Мужичок невидимый и чрезвычайно въедливый, он любил, что называется, «нагонять страху» по всякому поводу, когда надо и когда не надо.

- У тебя сын где? В техникуме учится! – кричал этот пыльный человек на мою мать. – Завтра же должен быть в колхозе! Он дезертир, из колхоза сбежал!

И мать маялась бессонницей: а ну как по звонку этого Мухина исключат ее любимого сыночка из желанного техникума! Уж она Мухину слова поперек сказать не смела и смиренно шла на любую работу, какой бы тяжелой та ни была.

- 3 -

Написав, что в нашей деревне несколько вдов были осуждены за валяние валенок, хотелось мне умолчать, что среди них была и моя мать. Тяжело писать это, но после нелегких раздумий, я пришел к выводу, что умолчание в данном случае будет для меня бесчестьем.

Тем не менее рука моя с усилием, под принуждением пишет об этом, равно как нехотя, превозмогая себя, писала и о том, что матери моей в голодном сорок первом и в еще более отчаянном сорок втором пришлось выпрашивать кусок хлеба для своих детей Христа ради, то есть нищенствовать. Пусть это были единичные случаи, однако же, как говорится, из песни слова не выкинешь.

Сказано же: от сумы да от тюрьмы не открестишься. Не открестилась мать в войну от сумы, не открестилась после войны от тюрьмы.

Таков уж оказался проклятый круг жизни – как западня.

Налогом обложили – чем платить? Откуда взять шерсть и свиную шкуру, и мясо, если нет у нас в хозяйстве ни поросенка, ни овцы, ни теленка? А не заплатишь налог – уже дело подсудное. Значит, надо ту овечью шерсть и свиную шкуру купить на базаре, после чего и сдать государству. А откуда взять денег на такую покупку? Ну, продаст мать мешок картошки...

Ну, еще что-нибудь, вроде соленых огурцов или сушеной свеклы – велик ли тут доход? А помимо налога требуют еще подписаться на заем. И надо купить учебники да тетради для нас с братом, обувь... одежду... Да и себе что-нибудь, самое необходимое, без чего совсем нельзя; скажем, резиновые сапоги или калоши. И в хозяйстве нужны топор, ведро, пила, заступ...

Пойдут, бывало, бабы в колхозное правление с жалобой: как выплатить этот проклятый заем, если денег колхозникам на трудодни не дают ни копейки? А грозный Мухин кулаком стучит по столу:

- Вы что! Своему государству враги? Да я отрежу у вас усадьбу по угол дома!..

Помимо того, что он мог отрезать усадьбу и лишит огорода, были в его карательном арсенале и другие наказания: не дать твоей корове или козе пастись в стаде... не отпустить тебя на базар... приписать тебе какое-нибудь суждение политического характера... Да мало ли!

«Звери алчные, пиявицы ненасытные...»

- 4 -

Но вообще, надо признать, моей матери часто везло. Когда я мысленно прослеживаю течение ее жизни, мне ясно видно, как благополучно складывалась ее судьба; сколько было матерей менее удачливых!

Для нее же в каждой тяжелой ситуации обязательно появлялся избавитель в том или ином облике, подчас даже во множественном, вот как на суде в Нерли. Поэтому я так считаю: моя мать родилась под счастливой звездой. Посудите сами:

она рано осиротела... но родной дядя стал ей вместо отца; с ним она знала бедность, но отнюдь не нищету.

она выросла в семье, которую в год великого насилия над крестьянством могли раскулачить, заслат в пески, но не раскулачили ведь, и не заслали;

она вышла замуж за хорошего человека – это ли не везение! Правда, мужа ее убили на войне, но разве не утешительно, что она прожила с ним восемь лет – другим разлука пресекла супружество гораздо ранее;

она сама была на той войне вместе со своими маленькими детьми, но уцелела сама и спасла детей, хотя столько раз была близка к гибели! Замерзала в чистом поле – спасли испанцы... голод шел по пятам, но кусок хлеба все-таки находился... немцы могли отнять детей, но обошлось... и столько раз бывала под бомбежкой – ни одна бомба в нее не попала, ни один осколок не долетел;

ей пришлось батрачить – да, но у хороших хозяев; ее там только один раз побили и грозились утопить младшего сына, но не утопили же!

она была владелицей двухэтажного дома – низ каменный, верх деревянный – и не где-нибудь, а в

Новгороде! Правда, дом этот сгорел... но ведь она купила другой, и опять была хозяйкой – это ли плохо!

И даже когда хотели посадить в тюрьму года на четыре, все-таки не посадили, а заставили отрабатывать принудиловку в своем колхозе. То-то напугали! Будто раньше не было той принудиловки! Выходит, единственное следствие того приговора - списывали по двадцать процентов трудодней в месяц... все равно на них ничего не давали! Хоть бы их все списывали...

Итак, множество всяческих везений сопровождало ее в жизни, их невозможно было перечислить. Пожалуй, без этого ей не уцелеть бы. Нет, не уцелеть.

Как хотите, а у моей матери счастливая судьба.

На этом позвольте мне закончить повествование о ее жизни. Поверьте, она и далее складывалась таким же порядком, то есть столь же счастливо.

А я ужасно устал, я измучен, я просто не в состоянии продолжать эту работу. Она не дает мне спать, есть и пить, даже дышать; она не дает мне радоваться жизни. Я хочу освободиться от этой ноши, она не по силам мне. Простите меня, я отступаюсь.

Однако же мне необходимо написать несколько страниц послесловия... Думаю, что это необходимо.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

В 60-м году при счастливом стечении обстоятельств матери моей удалось в родном Новгороде, дав «в лапу» какому-то милиционеру начальнику (нет, самой не суметь бы, это «братчик» Иван Степаныч по-мужски договорился), выправить паспорт. Таким образом, она получила освобождение от колхозной неволи, точно так же, как наши предки некогда при особой удаче получали вольную.

В небольшом районном городке Конаково она купила свой последний дом на улице, почему-то названной Коммунистической. Улица да и вся эта городская окраина состоит из таких вот деревянных домов, как материн; их перевезли в тридцатые годы из зоны затопления Иваньковского водохранилища – они стояли там, в патриархальном уездном городке Корчева, ушедшем на дно подобно сказочному граду Китежу. А вот теперь достаивают свой жизненный срок здесь.

Перевезенная в наш городок и вновь отстроенная корчевская улица, конечно же, сначала выглядела бодрой и как бы устремленной в светлое будущее; потому-то, небось, и назвали ее Коммунистической; но с течением времени местный коммунизм отяжелел, одряхлел, перешел в свою самообличительную фазу:

дорога непроезжа, лужи обширны, среди них прихотливо, по-деревенски выются тропинки; из-за покосившихся заборов скандально брешут собаки; столбы электропередач стоят криво-косо, в темное время суток фонари не горят. Гидростанция, ради которой утопили Корчеву со всеми прилегающими землями – заливными лугами, пашнями, лесами – не залила светом здешний край. Позднее возле городка построили еще одну, тепловую электростанцию, ставшую крупнейшей в Европе, но и она не облагородила улицу Коммунистическую – беспросветность полнее всего характеризует ее.

Материн дом в пору его приобретения был довольно приземистым строением окнами назад и наперед. В передней половине еще можно было жить, но в задней провалился потолок. Весь дом сильно накренился на бок и грозил упасть или осесть, будто старый гриб от дряхлости. Я был в ту пору далеко – в Сибири; но вернулся из армии мой братец, а он у нас на все руки...

- Мы с ним стену поддомкратили вот с этой стороны, - увлеченно рассказывает мать всем желающим ее послушать, - да и вынули нижнее бревно – дом у нас и покачнулся в обратную сторону, поровнее встал. Теперь-то чего, ишь какой бравый!

Ну, особой бравости в нем нет, но по крайней мере он уже не заваливался набок.

Поселившись в городе, она проявляла те же чудеса бережливости, поскольку, работая на заводе, получала сорок шесть рублей в месяц, а надо было и дрова покупать, и за «штраховку» платить, и за электричество... да и задолжала она при покупке дома, значит, с долгами надо было рассчитывать. Мать в эту пору умудрялась жить на рубль в неделю, покупая только хлеб да растительное масло.

- Задумали мы с Витей фундамент подвести. Договорились с шабашниками насчет бетону – обещали привезти со стройки, ждем. А их все нет и нет. Привезли к вечеру, уже в сумерках, раствор того и гляди захрянет. Ну, мы на носилках да бегом, бегом! Так умаялись, так измучились – на ногах не стоим, слова сказать нет сил... Зато передняя-то половина встала на фундамент. Теперь вот заднюю бы...

Далее следовал рассказ о том, как она года два добывала шифер на крышу.

- Я на завод к Лихотникову ходила. Приду к нему, а он – такой мужчина вежливой да обходительной! – и скажет: пока, мол, нету, зайдите недельки через три-четыре. Я через месяц или два снова зайду к нему – опять он улыбается: вы, мол, заглядывайте ко мне, не стесняйтесь, а то я могу и забыть. Вот и выходила, продали мне шиферу...

Такими же трудами к дому пристроили веранду... обшили тесом... подбили опускающийся пол и

подвесили на балках прогибающийся потолок... переклали печь да и не один раз...

Ныне она живет в собственном доме с четырехскатной крышей, с верандой и крылечком; дом обшит тесом, покрашен и имеет вполне приличный, я бы даже сказал, добротный вид. И только хозяйка его знает, насколько это обманчиво, что это всего лишь видимость – дом еле-еле стоит, и есть опасение, что он однажды все-таки рухнет.

Ну, рушатся, пожалуй, только солидные, громоздкие здания, материн же дом просто осядет или повалится, тихо, без грохота и треска. Нижние венцы сруба, поедаемые и прогрызаемые жучками да мышами, побитые сыростью да грибком, истлевают; бревна последовательно, одно за другим, превращаются в прах – все строение неостановимо и печально оседает, как бы вращаясь в землю. Если раньше, чтоб заглянуть снаружи в окно, надо было стать на скамью, то теперь и с земли заглянешь; если в прошлом году еще можно было в подполе передвигаться, сильно согнувшись, теперь же – только на локтях и коленях, то есть почти ползком; и по чердаку ходить опасно: рискуешь провалиться сквозь потолок в жилые комнаты.

Древооточцы неустанно трудятся, осыпая с потолка и стен древесную труху, они не признают ни праздников, ни выходных дней. Неустанная работа их нарастает день ото дня. Проснувшись за полночь,

хозяйка прислушивается и явственно различает их деятельную работу. Кажется, у них наступила пора особенного азарта и оживления – налетай, ребята! Разбирай на шарап! – и это внушает владелице дома ежедневную и еженощную тревогу.

Дом покряхтывает, потрескивает; по углам в нем весело гнездятся мыши, устраивая беготню и писк. Но внешне, повторяю, он еще производит впечатление вполне крепкого жилого строения, которое ничем не хуже своих собратьев на улице.

Ну, до всей улицы мне нет дела – меня заботит материн дом. Я не знаю, как к нему подступиться, чтоб обновить, поправить, чтоб не слишком угнетал старушку, чтоб простоял еще десяток лет. Подвести новый фундамент? Но ведь стены гнилые! Заменить несколько венцов сруба? Но ведь и потолок уже прогнил! Вон матица изогнулась, сама себя держать не может, потому подвешена на чердачных балках с помощью длинных железных болтов. И переводы осели чуть не до земли. А крыше этой шиферной сколько лет? Она жива до первого крупного града.

Признаюсь, у меня опускаются руки, когда я думаю о ремонте. Понятия не имею, где и как достают цемент, бревна, шифер, кирпич... А еще нужен транспорт, грузчики, плотники, печники... и деньги. Откуда взять столько денег? Да и гложет червь сомнения: а можно ли отремонтировать дом, у которого отказыва-

ются служить стены и крыша, пол и потолок? Не легче ли, не дешевле ли будет построить заново? Но «построить» и вовсе непосильно, не потянуть такое дело моему безлошадному писательскому хозяйству. Ради этого я продал бы дачу, но у меня нет дачи. Я продал бы автомашину, но у меня нет и ее! Продам бы ковры и хрусталь, но у меня нет и того и другого. А что касается денежных накоплений, то их ровно столько, чтобы кое-как очень скромно дожить до следующей книги. Впрочем, хватит ли?

Пока что моя забота не простирается далее общих рассуждений, а мать обихаживает свое жилье на уровне косметическом или санитарном: моет полы, протирает стекла окон, стелет половички, вешает занавески, а помимо того затыкает щели, забивает досками прогрызаемое мышами, заклеивает потолок бумагой белой – это чтобы не сыпалась оттуда труха. Отправляясь куда-нибудь, она всякий раз зорко оглянет свой дом, словно боясь, что в ее отсутствие он упадет.

При всем этом она самолюбива до крайности: попробуй-ка, скажи ей, что-де домик ее трухляв – она обидчиво подожмет губы:

- Мой ли домик плох! Вон, говорят, возле школы хотели продать развалюшку – покупатели придут, посмотрят, да и торговаться не хотят. А вот так надумай я продавать – за мой хорошую цену дадут. Только

объяви! У меня ить он теплый да и окна-то эва какие большие – светлые! И под шифером, и покрашен – все ходят, только любят.

Это не просто дом, а итог всей ее жизни, свидетельство, что жизнь прожита не зря, не впустую, а потому сомнения в его повышенной стоимости просто неуместны.

- Мой ли домик плох! – повторит она даже после продолжительной паузы или иного отвлекающего разговора и успокаивается только в том случае, если ей не возражают.

Восемьдесят лет – возраст, до которого она никак не предполагала дожить. Считала так: ее век – дай Бог шестьдесят лет. Именно к этому сроку она «все приготовила».

- Катя, - строго сказала она еще тогда своей невестке, моей жене, - вот знай: как помру – в сундуке все приготовлено, во что меня обрядить. Поняла? Как откроешь сундук – тут в уголочке и лежит, увидишь.

Сундук заперт на всякий замок, но петли, на которых откидывается крышка, давно перержавели и отвалились. Время от времени она открывает его, перебирает содержимое, вздыхает. В этом сундуке хранятся особо почитаемые вещи, «добро»: длинный кусок новины, искусно вытканый бабушкой Прасковьей Ивановной; кружевной черный шарф, некогда любимый деревенскими модницами; кожаный

ридикюль с письмами отца, его паспортом и фотографиями; фетровые сапожки, надевавшиеся поверх туфель... Что еще? Вроде только это. Ах да, еще два *лисяка*! *Лисяки* сильно полысели, мех линяет клочьями, тонкое сукно побито молью – можно выбросить их за ненадобностью, но матери тяжело расстаться с ними: они свидетельствуют о бесконечно дорогом, во что уж и не верится, словно это сон.

1991-1992гг.



Семья Ворониных. 1915г. Калязин



Нюша Воронина (сидит)
с подругой Настей Чаркиной. 1931 год



Василий Федорович Красавин с братом Михаилом (сидит)
и сестрой Марусей. 1931 год



Василий Красавин (крайний справа) с друзьями - Михаилом Смирновым и Федором Козляковым. 1928 год



Молодожены Василий и Анна Красавины



Орина Сергеевна Красавина, Анна и Василий, их дети Виктор и Юрий (в пеленках) и Прасковья Ивановна Воронина. 1938 год



Семья Красавиных 1938 год. Новгород.



Анна и Василий Красавины,
их дети Юрий и Виктор и сестра Василия - Маруся. 1939 год. Новгород



Красавин Василий Федорович. 1941 год



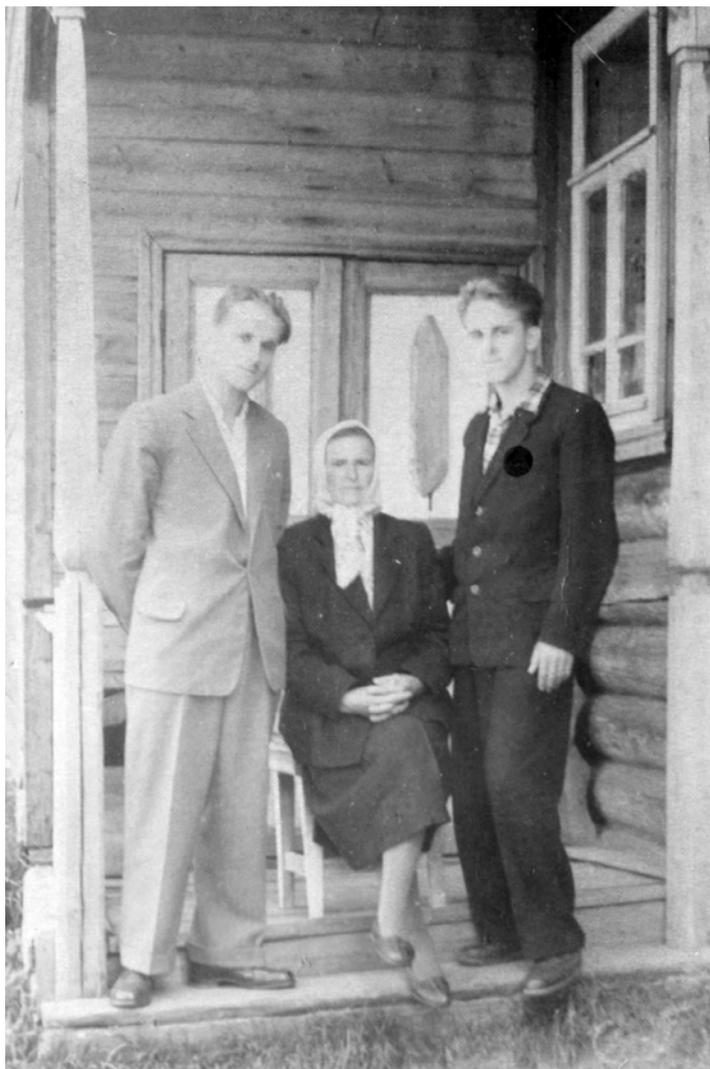
Василий Федорович (сидит слева) и валялы. 1940 год



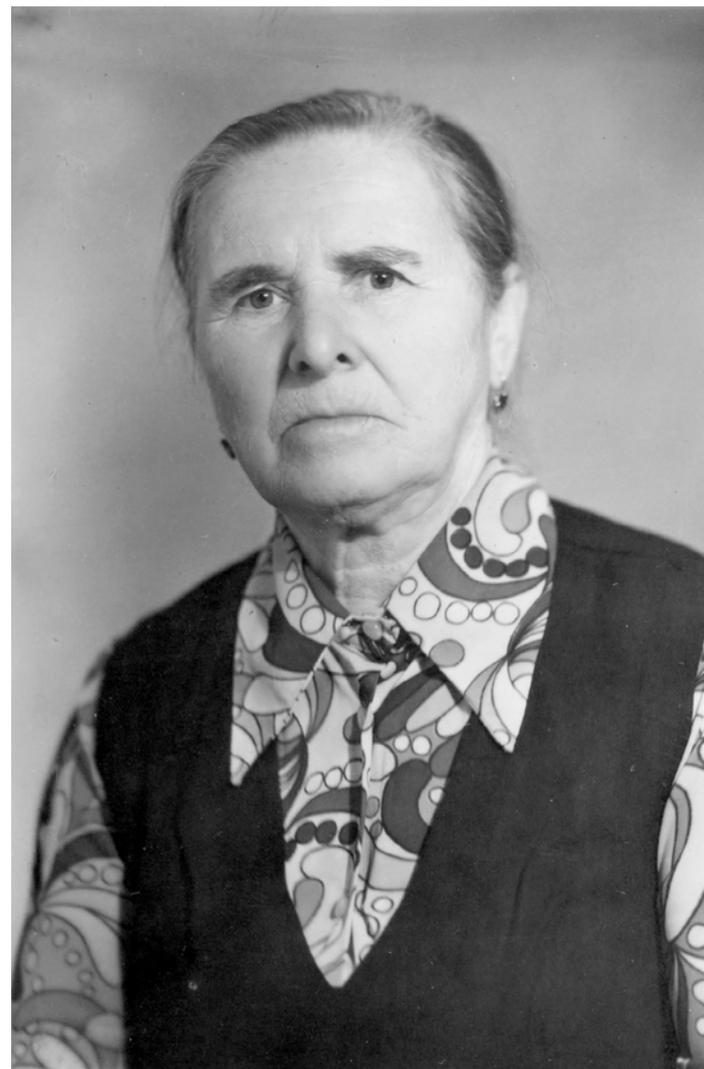
Паспорт Красавина Василия Федоровича



Юра Красавин с приятелями. дер. Ремнево, 1954г.



Анна Степановна с сыновьями на крыльце своего дома.
деревня Ремнево. 1958 год



Анна Степановна Красавина. 1975 год

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ:

ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КРАСАВИН

КНИГИ:

1. ЯСНЫЕ ДАЛИ, повести и рассказы
- М.: Московский рабочий, 1971
2. НА МОЕЙ ЗЕМЛЕ, повести
- М.: Современник, 1973
3. ХОЗЯИН, повести
- М.: Молодая гвардия, 1974
4. В СЕРЕДИНЕ ЛЕТА, повесть
- Л.: Лениздат, 1975
5. ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ, повести
- М.: Современник, 1978
6. ПОРЕЧЬЕ, повести
- М.: Современник, 1981
7. ХОРОШО ЖИВУ, повести и рассказы
- М.: Советский писатель, 1982
8. МАСТЕРА, роман
- М.: Молодая гвардия, 1984
9. ЯСНЫЕ ДНИ, повести
- М.: Советская Россия, 1985

10. СЛОВО О МОЕЙ НЕРЛИ, повести
- М.: Современник, 1986
11. ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ, повести
- М.: Сов. писатель, 1990
12. ВЕЛИКИЙ МОСТ, повести
- М.: Современник, 1990
13. ТЁПЛЫЙ ПЕРЕУЛОК, повесть
- М.: Детская литература, 1990
14. РУССКИЕ СНЕГА, повести
- Т.: Тверское изд-во, 1998

РОМАНЫ И ПОВЕСТИ В ЖУРНАЛАХ:

1. ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ..., повесть
- «НЕВА», №7 – 1968
2. ХОЗЯИН, повесть
- «ОКТЯБРЬ», №7 – 1969
3. ЯСНЫЕ ДНИ, повесть
- «ЗНАМЯ», №9 – 1970
4. ХОРОШО ЖИВУ, повесть
- «ЗВЕЗДА», №9 – 1977
5. ТРОПИНКИ НАШЕГО ДЕТСТВА, повесть
- «ВОЛГА», №3 – 1978
6. СЛОВО О МОЕЙ НЕРЛИ, повесть без вымысла
- «ВОЛГА», №1 – 1980
7. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ОГНЯ, роман
- «ВОЛГА», №№11,12 – 1983

8. РЕКА ЗАБВЕНИЯ, повесть
- «СЕВЕР», №1 – 1984
9. ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ, повесть
- «НОВЫЙ МИР», №8 – 1989
10. ОНИ НАСТУПАЮТ, повесть
- «ВОЛГА», №№7 и 8 - 1990
11. НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ, повесть
- «НЕВА», №7 – 1990
12. ВАЛЕНКИ, повесть
- «НОВЫЙ МИР», №4 – 1992
13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЖИЗНИ, повесть
- «ЗНАМЯ», №12 – 1992
14. ГРИБЫ С ГЛАЗАМИ, повесть
- «РУССКАЯ ПРОВИНЦИЯ», №1 – 1993
15. ГРИБЫ С ГЛАЗАМИ, повесть
- «МОСКВА», №12 – 1993
16. ВРЕМЯ НОЛЬ, повесть
- «РУССКАЯ ПРОВИНЦИЯ» №2 – 1994
17. ХУТОРОК, повесть
- «ДЯДЯ ВАНЯ», лит. альманах
Чеховского общ-ва, №2 – 1994
18. ДИКИЙ РЫНОК, повесть
- «РУССКАЯ ПРОВИНЦИЯ» №1 – 1995
19. ПУСТОШЬ, повесть
- «БЕЖИН ЛУГ», №2 – 1995
20. ПРИВЕТ, СТАРИК!, повесть
- «ДЯДЯ ВАНЯ», лит. альманах
Чеховского общ-ва, №1 – 1995

21. РУССКИЕ СНЕГА, роман
- «МОСКВА», №9 – 1996
22. ПУСТОШЬ, повесть
- «ВОЛГА», №11-12 – 1996
23. НОВАЯ КОРЧЕВА, очерки
- «РУССКАЯ ПРОВИНЦИЯ», №4 – 1996
24. НОВАЯ КОРЧЕВА, очерки
- «НОВЫЙ МИР», №2 – 1997
25. ДЕЛО СВЯТОЕ, повесть
- «ДАЛЬНИЙ ВОСТОК», №2 – 1997
26. ДЕЛО СВЯТОЕ, повесть
- «РУССКАЯ ПРОВИНЦИЯ», №3 – 1997
27. ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ СТРАСТИ, повесть
- «МОСКВА», №12 – 1997
28. ХОЛОПКА, повесть
- «РУССКАЯ ПРОВИНЦИЯ», № - 2000
29. ХУТОРОК, повесть
- «НЕВА», №11 – 2000
30. ПРО ПОЛКОВНИКА, повесть
- «РУССКАЯ ПРОВИНЦИЯ», №3 – 2001
31. ПРИВЕТ, СТАРИК!, повесть
- «РУССКАЯ ПРОВИНЦИЯ», №4- 2002
32. РУССКИЕ СНЕГА, роман
- «РОМАН-ГАЗЕТА», №3 – 2004
33. ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ, повесть
- «ДОН», №6 – 2004
34. ВРЕМЯ НОЛЬ, повесть
- «ДОН», №5 - 2005

35. ПРИВЕТ, СТАРИК!, повесть
- «ДОН», №2 - 2006
36. ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ, повесть
- «НАШ СОВРЕМЕННОК», № 8 - 2006
37. ПРО ПОЛКОВНИКА, повесть
- «ПОДЪЁМ», № 9 – 2006
38. ПИСЬМЕНА, роман
- «ДОН», № 10 – 12 за 2006, № 1 – 2 за 2007
39. ХОЛОПКА, повесть
- «РУССКИЙ ПУТЬ №2(11) – 2006
40. ДЕЛО СВЯТОЕ, повесть
- «ПОДЪЁМ», №4 – 2007
41. ЯМУГА, повесть
- «НАШ СОВРЕМЕННОК», №1 – 2008
42. ХОЛОПКА, повесть
- «ПОДЪЁМ», №4 - 2008
43. ВРЕМЯ НОЛЬ, повесть
- «ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА»
(Минск), №4 - 2008
44. ТРУБА ЗОВЁТ, повесть
- «ПОДЪЁМ», №2 - 2009

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	3
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ, ДОВОЕННАЯ	11
ГЛАВА ПЕРВАЯ	11
ГЛАВА ВТОРАЯ	33
ГЛАВА ТРЕТЬЯ	58
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ	76
ЧАСТЬ ВТОРАЯ, ВОЕННАЯ	95
ГЛАВА ПЕРВАЯ	95
ГЛАВА ВТОРАЯ	113
ГЛАВА ТРЕТЬЯ	133
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ	151
ГЛАВА ПЯТАЯ	172
ГЛАВА ШЕСТАЯ	193
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ, ПОСЛЕВОЕННАЯ	207
ГЛАВА ПЕРВАЯ	207
ГЛАВА ВТОРАЯ	215
ГЛАВА ТРЕТЬЯ	220
ПОСЛЕСЛОВИЕ	229
КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ	250

Юрий КРАСАВИН

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЖИЗНИ

ПОВЕСТЬ

Отпечатано в ГУП МО «Клинская типография»
141600, Моск. обл., г. Клин, ул. Ленина, 7.
Тел./факс 5-83-97
E-mail: 58397@mail.ru.
Заказ 330, тираж 50 экз.